

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Проза Русского Севера



Охота на убитого соболя

Проза Русского Севера

Валерий Поволяев

Охота на убитого соболя

«ВЕЧЕ»

2020

Поволяев В. Д.

Охота на убитого соболя / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ»,
2020 — (Проза Русского Севера)

ISBN 978-5-4484-8255-7

Русский Север – особый край. Он не признает слабости: любая работа здесь нелегка, будь то переход через покрытые метровым слоем льда моря, поиски нефти или охота за драгоценным пушным зверем – неожиданная опасность может возникнуть в любую минуту. А ещё Север проверяет людей на крепость – настоящими северянами становятся только те, кто способен не струсить в решающую минуту и не поддастся заманчивому блеску лёгкой наживы. Произведения, включенные в книгу известного автора, лауреата многих литературных премий, рассказывают о наших современниках, живущих и работающих на краю земли Российской.

ISBN 978-5-4484-8255-7

© Поволяев В. Д., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Жил-был citrus	5
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Валерий Поволяев

Охота на убитого соболя

Жил-был цитрус

В Мурманске имелось два ресторана, – точнее, даже не рестораны это были, а кафе, – в которых Суханов любил отмечаться, когда уходил в море или возвращался из плавания, – «Фрегат» и кафе «Театральное». Не потому отмечался, что ему надо было обязательно выпить, нет, Суханов не пил, по другой причине: ему хотелось перед уходом в море обнять землю, ощутить ее, как ощущает иной сухопутный человек, никогда не покидающий берега, понять ее прочность и уют, тепло ее, заботы, запомнить людей, с которыми он общался в последний день, узнать свое место среди них, определить, кто он, что он, с кем он? Эта штурманская поправка насчет «кто» и «что» просто необходима – ведь время течет, все в нем изменяется, нельзя, как говорят философы, дважды войти в одну и ту же реку, соответственно меняется и человек, он делается иным, место его зыбкое: сегодня он король, а завтра, глядишь, – обычный повар, который готовит еду конюхам, либо еще хуже – рабочий на задворках.

«Фрегат» – ресторанчик уютный, маленький, человек на двадцать всего. В стены врезаны судовые иллюминаторы с медными барашками, в иллюминаторах плещется-шумит море – увы, ненастоящее, световое, искусно сделанное, – много старого дерева, корабельных канатов, стоек, и в довершение всего есть самая настоящая корабельная рында с коротким обрывком веревки, привязанным к бронзовому обабку колокола.

Обрывок веревки называется рындабулинем. Часто у тех, кто приходит в гости на корабль, спрашивают: какой самый короткий конец на судне?

- Рындабулинь.
- А самый длинный?
- Язык у боцмана.

Если кто-то хочет произнести слово, озадачить собравшихся мудрым текстом, спеть песню, сплясать, повеселить публику или сообщить что-нибудь приятное, – встает с места, подходит к рынде, ухватившись за рындабулень, и бьет в колокол. Все стихают – таков закон «Фрегата» – и переводят внимание на выступающего. В кафе два бармена – Володя и Рафик, Суханова они знают хорошо, Рафик специализируется на кофе, Володя на коктейлях. Рафику ведомо, что Суханов пьет кофе густой, крепкий, и чтобы в кофе обязательно было брошено несколько крупинок соли – когда кофе варят с солью, то напиток получается вязким, терпким, вкусным, – ему ведомо и то, что Суханов обязательно будет пить кофе, и тем не менее он каждый раз подходит и спрашивает в почтительном полупоклоне:

- Кофе фить будем?

Рафик постоянно путает «п» и «ф». Однажды он принес кофе не присоленный, с нежным вязким вкусом, а настоящий, соленный, словно тузлук, в котором выдерживают рыбу, и когда Суханов отказался его пить, администратор предложил сделать соответствующую запись в книгу отзывов и тем самым наказать его, Рафика Айвазяна, но Суханов покачал отрицательно головой: и кофе он пить не будет, и в книге отзывов тоже ничего не будет писать.

Володя тем временем проявил активность, принес Суханову блюдо с темной, припахивающей тундрой колбасой – оленьей, как понял Суханов, и не просто оленьей, а из мяса усталого оленя, потому что от колбасы пахло потом, и это была очень вкусная и очень желанная еда, а главное – земная, – к колбасе коктейль в широком, отлитом из зеленого бутылочного стекла бокале, который моряки называют шайкой, и кусок ноздреватого твердого льда. Суханов любил бросать в бокал лед – «шайка» покрывалась махристым инеем, обжигала пальцы,

и Володя, стоя за своим высоким столом, улыбался, глядя, как меняется, делаясь расслабленным, добрым, мирским, лицо Суханова.

Но «Фрегат» – кафе маленькое, капризное, не всегда в него можно попасть: кафе часто облюбовывают разные шумные кампании – то день рождения справляют, то какую-нибудь великую дату: сто лет основания общества любителей канареечного пения, либо годовщину распада кружка штангистов, то там веселятся работники общепита, отмечая праздник бублика или декаду манной каши, то еще что-нибудь происходит – в общем, на дверях «Фрегата» часто болтается деревянная табличка с одним-единственным премерзким словом «Занято», будто это не кафе, а места на пронумерованных диванах быстроходной «ракеты», либо театральные кресла, в которые должны втиснуться несколько высокоставленных чинов из президиума торжественного собрания. Суханов наморщил лоб, вспоминая, видел ли он когда какие-нибудь другие таблички на дверях «Фрегата» или нет, не вспомнил, да и незачем это было вспоминать, потрогал пальцами деревяшку с премерзким словом. Словно бы отзываясь на это движение, из уютной притеми кафе выплыл Володя, щеголеватый, с черными лоснящимися усиками, будто бы приклеенными к полному белому лицу, с вялыми движениями и танцующим балетным шагом, приткнулся к двери, разглядел Суханова и громыхнул тяжелым засовом.

– Замочек-то, а, – Суханов потер перчатками уши. На улице морозило, с неба падала твердая обледенелая крупка, а Суханов был одет по-парадному, словно его вызывал к себе начальник пароходства: в ослепительно-черную форменную пару, в синее легкое пальто из немнущейся английской шерсти, на ногах – гибкие начищенные мокасины с тонкой подошвой, сквозь которую чувствовался снег, на голове форменная фуражка – «ллойдовка», сшитая по заказу в Одессе, с золотым потускневшим крабом. Суханов считал, что одеваться надо только по последней моде, торжественно, с блеском и шиком, и это производило впечатление. Особенно, когда он сходил на берег. И не одобрял тех мореходов, которые одевались кое-как, лишь бы было прикрыто пузо, не дуло в грудь и была застегнута, извините, ширинка, вместо форменных белых сорочек носили засаленные мятые ковбойки, на которые натягивали плоский, блестящий от старости галстук с огромным кривым узлом. Моряк всегда должен сиять, жизнь для него – праздник, а свидание с берегом – феерия. Такими замками на героических крейсерах царского флота запирали котлы, чтобы не взорвались от избытка пара.

– Полноте, Александр Александрович, – лениво, вежливо и излишне церемонно произнес Володя.

– Эту табличку неплохо бы сдать в аренду какому-нибудь близлежащему магазину, – Суханов побрякал деревянной биркой о стекло двери, – обувному, мебельному либо портвейновому. Есть в Мурманске магазины, в которых торгуют портвейном?

– Естественно, Александр Александрович. Их торцами зовут.

– Отчего так?

– Винные отделы всегда в торцах магазинов располагаются. Потому их торцами и зовут.

– Вот что значит, я давно не был на берегу, – Суханов хмыкнул, – отстал от времени и современного языка, – лицо его сделалось суровым, а глаза, напротив, засияли.

Вообще, если быть честным, Суханов не во всем был понятен бармену Володе, от таких людей всегда жди чего-нибудь неожиданного, укола либо баяны, и Володя побаивался Суханова. Но, побаиваясь, уважал – было в Суханове что-то такое, что невольно притягивало, выделяло из десятков других людей, делало его фигуру исключительной. Ведь когда нам надо бывает на улице узнать дорогу либо попросить прикурить, мы обязательно выбираем из многолюдья, из толпы человека, который нам симпатичен, – и лицо у него, на наш взгляд, открытое, располагающее, доброе, и взгляд приветливый, и осанка крепкая, внушающая уважение, – и обращаемся только к нему, ибо знаем: не откажет, подсобит, если что, разъяснит и проводит. В случае конфликта – защитит. И почти никогда не обращаемся к человеку, который несимпатичен.

Только в самых крайних случаях, когда улица пустынна и не к кому больше обратиться. Суханов был из тех людей, к кому можно обращаться.

– Извините, Александр Александрович, у нас сегодня все места заняты – торжество.

– Опять какая-нибудь контора отмечает день одуванчика? Превратился-таки почтенный «Фрегат» в легкомысленный «Синий дым»?

– Что такое «Синий дым»?

– Это когда ничего не видно. Дым синий плавает, густой, слоями. Из-под дыма ботинки торчат. Одни ботинки – и все. Больше ничего не различить.

– Сегодня у нас заседает плановый отдел тралового флота.

– Неужто все трескоеды в этой бочке поместились? – удивился Суханов.

– Могу вам в уголочке поставить отдельный столик, – сказал Володя.

– Спасибо, Володя, только... – отказался Суханов. – У нас разные круги общения. – Суханов вежливо приподнял фуражку, откланялся и двинулся дальше.

Надо было отходить на запасные позиции – в кафе «Театральное», со дня своего основания облюбованное моряками и никакого отношения ни к театру, ни к ВТО не имеющее. В это кафе Суханов возвращался как в собственную молодость – почему-то щемило душу, делалось тревожно, сладко, такое ощущение, будто он нашел смятый затерханный рубль на пыльной дороге и, немой от счастья и предчувствия чего-то очень хорошего, помчался покупать на этот рубль мороженое. В «Театральном» Суханова тоже знали. Но знали не так, как во «Фрегате» – там к нему относились с почтением и непонятной робостью, а здесь любили. Всегда можно было потребовать салат из свежих огурцов, хороший кусок мяса и провести очистительную беседу с уборщицей Нюрой – бывшей сектанткой, а ныне полноправным членом профсоюза, трудящимся человеком. Нюра разуверилась в Боге и, чтобы хоть как-то удержаться на плаву – без бога образовалась пустота и мир полетел в тартарары, – начала пить. Пила она по-черному, как иногда пьют опустившиеся мужики, только мужики, в отличие от нее, хмелели, а Нюра нет, потом это ей надоело, она купила джинсовый костюм, вернулась к Богу и пошла работать уборщицей в кафе.

Кроме Нюры в «Театральном» работала еще официантка Неля – тоненькая, гибкая, как былка на ветру, с большими, светящимися изнутри глазами и узким изящным лицом. Неля писала стихи и занималась творчеством в литературном объединении.

Когда Суханов возвращался домой, на землю, то из Баренцева моря давал радиogramму друзьям: «Буду Мурманске шесть часов вечера Встреча шесть тридцать кафе «Театральное», – и не заходя домой, двигался в кафе. Там уже ждали друзья. А что ждало его дома? Неухоженная пыльная мебель, прошлогодний морской календарь, паутина, свисающая с потолка, и стены, на которых расписывался, рисовал каких-нибудь чертиков всякий, кто приходил в гости. Еще там была убогая посуда – две тарелки, два стакана и одна кружка, старое кресло, необустроенная кровать и выключенный холодильник.

С тех пор, как от него ушла Ирина, он не мог воспринимать собственное жилье, как жилье, где можно укрыться, отдохнуть, прийти в себя, успокоить расшатавшиеся нервы, подлечить сердце и дать затянуться ранам и порезам; приходил в квартиру и с тоской оглядывал замусоренный пол, исчерканные стены, морщился от того, что где-то глубоко внутри у него возникал стон, медленно полз вверх, к глотке, норовя выскользнуть наружу, Суханов сглатывал что-то горькое, загоняя стон внутрь, кадык у него на шее беспокойно дергался, подпрыгивал – он понимал, что эту квартиру надо бы обменять, получить другую, где-нибудь в районе Колонизации или Долины уюта, но каждый раз на берегу оказывалось дел больше, чем он мог сделать, до квартиры руки так и не доходили, и он снова отбывал в плаванье.

Зато каюта у него на ледоколе была опрятной, ухоженной, уютной. Корабельная каюта стала для Суханова домом, крепостью в полном смысле этого слова, заменила квартиру, в ней

он отдыхал, расслаблялся, приходил в себя. Хотя море – это не земля, а судно – не многоквартирный жилой дом.

Дверь «Театрального» тоже была заперта.

«И здесь заседает какая-нибудь артель по производству кукурузной каши или мыльный отдел универмага. – Суханов потер перчаткой ухо. – Обертки из-под мыла, как фантики, раскладывают на столах, разглаживают: у кого больше, у кого красивее... Что за чертовщина! Никогда кафе не было закрыто!» – Он постучал пальцем в дверь.

На стук выглянула Неля.

– О-о, Александр Александрович! – расплылась она в улыбке, засветилась, большие неземные глаза ее потемнели, появилась в них глубь и синь, Неля распахнула дверь: – Входите, Александр Александрович!

– По какому поводу запираетесь? – осведомился Суханов. Войдя в предбанник кафе, он снял «ллойдовку», пригладил ладонью волосы, потом запустил в них пальцы на манер расчески, разгреб, снова пригладил: волосы были мягкими, прическа модной. – Ожидаете приезд шведского короля?

– Вы его когда-нибудь видели? – с неожиданным оживлением спросила Неля.

– Когда-нибудь видел.

– И я видела, – сказала Неля. – На открытке. Мне один моряк подарил. Король и королева. Ее Сильвией зовут. Очень красивая. Я ей завидую-ю, – протянула Неля, голос у нее сделался далеким, задумчивым.

– Тому, что Сильвия красива, завидуешь, или тому, что она королева?

– Ни тому, ни другому.

– Сильвию я тоже видел.

– Живую?

– Естественно. Высокая, очень женственная и обаятельная, действительно красивая – смесь юга и севера, говорят, и очень умная...

– Раздевайтесь, Александр Александрович! Что же вы не раздеваетесь?

Суханов улыбнулся и снял с себя пальто.

– Король в молодости был большой повеса...

– Вот-вот, это я и хотела узнать, – Неля приняла от Суханова пальто, хотя это не входило в ее обязанности, – где он с нею познакомился?

– Участвовал в автомобильных гонках, ездил в Монако играть в рулетку, потом, влекомый чем-то, поехал в Мюнхен на Олимпиаду. Там ему дали переводчицу по имени Сильвия...

– Интересно, интересно. – На Нелиных щеках появилась розовина, брови выгнулись длинными дугами: очень ей хотелось узнать, как девушки находят своих принцев, а простые переводчицы превращаются в королев. – Что же дальше? – спросила она.

– Дальше было все очень просто. Как в обыкновенной сказке: наш герой влюбился, ударил крепенько, а когда Сильвия не ответила на ухаживания, привез Сильвию в Швецию. К тому времени старый король, кажется, уже скончался. Старый король был уважаемым человеком, профессором археологии, писал книги и участвовал в знаменитых раскопках...

– И этим зарабатывал себе на жизнь?

– Этим.

– Странное занятие для короля.

– Не более странное, чем другие занятия. Сильвия предстала перед риксдагом – Швеция хотела знать, какая королева у нее будет. Первое требование: Сильвия должна иметь королевскую кровь. Отец у Сильвии – немец, бежал когда-то от Гитлера в Бразилию, там познакомился с будущей женой. Оказывается, далекие предки этой женщины были вождями крупного племени. Таким образом, первое требование было удовлетворено. Второе требование: королева должна быть обаятельной, умной и образованной.

– Разве такие женщины есть, Александр Александрович? – Неля насмешливо округлила глаза.

– Есть. Одну из них ты сегодня увидишь.

– Интере-есно, – протянула Неля.

– Сильвия доказала в риксдаге, что она обаятельна, умна и образованна. Кроме членов риксдага на том заседании была вся знать и члены дипломатического корпуса – послы и советники-посланники. Когда послы задавали вопросы, то Сильвия отвечала на языке той страны, которую те представляли. А дальше все произошло как в сказке: повеса принц стал королем, а Сильвия – королевой.

– Где вы все это прочитали?

– В шведских газетах.

– И ныне Швеция любит королеву, конечно же, больше, чем короля?

– Сведения абсолютно верные.

– За какой столик вас посадить? – переключаясь на другое, озадачилась Неля, приложила палец ко лбу.

– За самый лучший, естественно.

– Вот тот, в углу... Годится?

Столик был небольшим, чуть меньше и ниже обычного, окантованным боком он прижимал портьеру к стенке, на столике стояла пестрая ваза с голой колючей веткой, призывно высывающейся из черного пустого нутра и каким-то засохшим синтетическим цветочком, производившим впечатление натурального – трогательного, беспомощного, безвременно скончавшегося в шумной ресторанной обстановке.

– Годится, – сказал Суханов и пошел звонить по телефону. Он должен был позвонить обязательно. Если не позвонит, то, ей богу, умрет от тоски в плавании, грусть-печаль удавкой перетянет ему глотку, и все, либо еще что-нибудь произойдет: поскользнется на палубе и перемахнет через гибкие леера за борт, в лед. А упасть с тридцатиметровой высоты, да еще в холодный, спекающийся от мороза лед – штука гибельная. Шансов на спасение ни одного.

– Здравствуй! – сказал он, когда в телефонной трубке перестали пищать назойливо-тонкие гудки вызова. У судовых раций, у многослойного эфира таких противных звуков, например, нет. А тут у телефона голос, будто в ухо всадили отвертку и провернули ее там, накручивая на торец барабанную перепонку. Суханову было неприятно, и он морщился.

– Здравствуй, – отозвалась Ольга, и Суханов перестал морщиться, в следующий миг что-то теплое, едва приметное скользнуло у него по лицу, у уголков глаз собрались морщины.

– Я пришвартовался к причалу, – сказал он, – жду тебя, Ольга.

– Где? – спросила она.

– Кафе «Театральное», как обычно...

– Ты раньше не мог позвонить, предупредить хотя бы, а, Синдбад-мореход?

– Не мог, Ольга, – произнес он тихим усталым голосом, помолчал немного, а потом, не говоря ни слова, повесил трубку на рычаг. Подумал, что надо было бы все-таки сказать несколько ободряющих слов, понежнее, поласковее их произнести, поделикатнее, а он словно бы лом в льдину всадил: бах трубку на рычаг, и все! Что-то неясное, щемящее возникло в нем, он почувствовал себя неудобно – ну будто короткие, едва достающие лодыжек брюки надел; борясь с собою, напрягся, сузил глаза и в ту же секунду получил удар в разъем грудной клетки – не нужно человеку бороться с самим собою! Если ему тоскливо – надо тосковать, если весело – надо веселиться. Не стоит стараться быть кем-то или чем-то... Лицо у него поугрюмело, он снова набрал телефон Ольги, проговорил тихо, в себя: – Извини, пожалуйста. Жду тебя, приходи как можно скорее.

Угловой столик в зале был уже накрыт: Неля умела не только писать стихи, а и обиходить, обставить стол, даже старую рваную газету накрыть так, что газета будет смотреться не хуже шелковой скатерти-самобранки.

– Спасибо, Неля, – сказал Суханов. – Принеси кое-чего закусить, водички, льда в ведерке...

– Мало вам льда в Арктике?

– В Арктике совсем другой лед, Неля.

За соседним столиком сидели молодые шумные ребята. Судя по разговору, по резкости голосов – привыкли моряки бороться со штормом и ураганами, со сведенными в одну линию бровями – недавно из плавания. Наверное, учились ребята вместе с этими славными девчонками в одном классе, вместе ходили с гитарой по тихим мурманским улицам, шалея от звона и аромата белых ночей, пели песенку в «Кейптаунском порту» и «Сережка с Малой Бронной», все было у них ясно, понятно – ни одной черной тучки над головой, ни одной застружины на тропе, а потом мальчишки решили поискать судьбу, пристроились на пароходы, девчонки остались на земле ожидать мальчишек. Те вернулись. И вон, уже считают себя просоленными морскими волками, разыгрывают сцены ревности. Почему-то пришли к выводу ребята – видать, бывалые подсказали, – что женщина в одиночку не в состоянии куковать на земле, обязательно какой-нибудь лохотный усатый красавец должен подле нее появиться, красавцы эти так и ждут, когда матросские зазнобы останутся одни, а дождавшись, нападают, как волки на стадо беззащитных коз. Суханов усмехнулся. Поплывают ребята немного в море, пооботрутся, перестанут быть кутятами, и мысли другие у них появятся, и доверия будет больше.

Поглядел в заиндевелое, украшенное знойным южным рисунком окно. Низкое солнце светило ярко, боковые колкие лучи застревали в инее, оплавливали его топленой желтизной. Хорошо все-таки, когда март на дворе, солнце светит, и худо, когда солнце совсем не кажет лица: человек за два долгих месяца полярной ночи замыкается в самом себе, как в скорлупе, делается угрюмым, чужим даже для жены, и нет никаких лекарств, чтобы поправить его настроение. Только солнце.

Ребята за соседним столом на минуту утихли – видать, надоело выяснять отношения, – один из них, чернявый, с мальчишеской старомодной челкой, падающей на лоб, и непроницаемо-темными смородиновыми глазами вдруг выкрикнул зычно, на весь зал:

– Горько!

Компания неожиданно онемела от этого выкрика, матросы сникли, да и не матросы они еще были, а зеленые салаги, килька, из которых в будущем, возможно, и получится некое подобие тех самых волков, о которых они рассказывают сейчас своим подружкам, но это все в будущем, а пока они килька и килька. Мальчишки увяли окончательно – неудобно, когда люди смотрят, а девчонки, наоборот, преобразились, вытянули головы, словно осенние цветы, похорошели: женское начало, стремление покорять «морских волков», быть приметными сделали свое дело, девчонки стали выглядеть старше своих сверстников-мальчишек. И вообще, это закон – женщина всегда бывает мудрее, опытнее, старше своего одноклассника-мужчины. В центре компании сидел паренек в форменной суконной тужурке, высоколобый, пухлогубый, с обижено-недоуменным выражением лица, паренек лишь недавно вывалился из родительского гнезда, не успел еще осмотреться, понять, что с ним происходит, хотя и побывал уже в море и наработался, как говорится, под завязку, сдирая лед с промерзлой скользкой палубы где-нибудь в Карском море, поморгал виновато, оглядываясь, вытянул длинную шею, белую и нежную, которой могла бы позавидовать девушка... Он, похоже, не осознавал, что крик «Горько!» обращен к нему и яркоглазой плотной девушке в малиновой пуховой кофте.

– Горько! – снова во всю мочь своих легких закричал чернявый.

Паренек в суконной тужурке боязливо придвинулся к девушке, робко чмокнул ее влажными губами в щеку. Не поцеловал, а клюнул, будто цыпленок.

– Э-э-э, так не годится, – запротестовал чернявый. Он, видать, уже имел опыт в сватовстве и свадебных делах. – Н-никуда не годится. Надо так, чтоб можно было хотя бы до десяти сосчитать. Вы бы дома потренировались, что ли. – От этих слов щеки жениха сделались помидорными, жениху было не по себе, но чернявый не замечал, либо не желал замечать его смущения. – Ну что, начнем снова? – спросил он собравшихся и, будто дирижер, поднял вверх руки. – Итак, приготовились!..

Молодость есть молодость. Когда за плечами нет ничего – и дышится легко, свободно, а уж когда груз горбом высится на хребтине, то вольно не подышишь, не повеселишься. Суханов поглядел на дверь: не пришла ли Ольга? Увидел, как в противоположной стороне из-за столика поднялась девушка, броско одетая, невысокая, в силу небольшого роста казавшаяся полной, и, ловко лавируя, двинулась в его сторону. «Может быть, знакомая?» – подумал Суханов, вглядываясь в красивое лицо девушки. Нет, эту девушку он не знал. Может, встречал где-нибудь, но где именно, когда, при каких обстоятельствах, вряд ли он сейчас вспомнит. Похлопал рукою по карману форменного пиджака, проверяя, на месте ли сигареты – во рту отчего-то сделалось сухо и горько, кожа на скулах натянулась, в глазах защипало, захотелось курить, но курить было рано – Суханов соблюдал режим.

Хуже нет, когда приходится ограничивать, сдерживать себя – от такой уздечки на нервной системе мозоли вырастают, жизнь становится пресной и безвкусной, как несоленая треска, дни – серыми, тягучими, незапоминающимися. В Арктике Суханов подзапустил свои ноги, в спешке забывал менять каленую промокшую обувь, беспрестанно носился на палубу, нырял из тепла на мороз и обратно, застудил себе конечности, вены на икрах, под икрами, около лодыжек вздулись, завязались черными узлами. Надо бы как-нибудь лечь в больницу, проверить ноги, прокачать вены; подлечиться, да все недосуг – разве с этой сумасшедшей работой подлечишься, поэтому Суханов ограничился малым – стал меньше курить. Если раньше в сутки он выкуривал две пачки сигарет, а когда выпадала трудная вахта, все три, то сейчас снизил норму до десяти сигарет в день. Десять – и точка. Ни одной сигареты больше.

Девушка, ловко изогнув свое тело, обошла пирующую молодежную кампанию, приблизилась к Суханову. Взгляд у нее был испытующим, внимательным, глубоким, что на дне его таилось – не разглядеть. Суханов подумал, что сейчас она попросит закурить – ничего другого у нее на уме в эту минуту не может быть. Вытащил сигареты из кармана, готовно раскрыл.

– О-о-о, – девушка немного растерялась, но быстро справилась с собою и потянулась к пачке, – «Ке-ент».

Она совершенно безошибочно выбрала из всей пестрой ресторанной публики Суханова, одного из разношерстного месива, подошла именно к нему и не к кому другому – у Суханова было располагающее лицо.

– Сразу видно, что человек плавает налево, – сказала девушка.

– Ошибаетесь, сударыня, – возразил Суханов, – человек плавает направо.

«Плавать налево», «плавать направо» – известные всему Мурманску понятия. Сам мурманский порт стоит не в море, а в Кольском заливе, от горловины залива до ковша, где швартуются пароходы, – не менее двух часов хода, в горловине, в самом устье залива, пароходы прощаются, оттуда одни идут налево, к Рыбачьему, а потом пересекают границу и оказываются в норвежских водах, другие – направо, в Арктику, вглубь Баренцева моря, к Карским воротам.

– Налево, что, визу не дают?

– Почему? Дают. Только направо интереснее, – Суханов вытащил тонкую изящную зажигалку с перламутровыми вставками на щечках, дал прикурить.

– Вы гуманоид? – неожиданно спросила девушка.

– А вы любите поговорить? – в свою очередь поинтересовался Суханов.

– Хлебом не корми...

– Нет, я не гуманоид.

– Жаль, а то в нашей кампании есть два гуманоида, из Москвы прилетели.

– Надолго?

– Их уже отзывают назад. Завтра снова будут в Москве.

– Времени нет, а могли бы хорошо поговорить, – Суханов сделал скорбное лицо и вздохнул.

– И я так думаю, – девушка покачнулась, взялась пальцами за край стола. Суханов внимательно посмотрел на нее. Глаза девушки были сухи, чисты, трезвы, надежны. – Тема гуманоидов меня волнует.

– Надолго? – снова спросил Суханов. Его словно бы заклинило на этом вопросе.

– Естественно, нет, – девушка доверчиво улыбнулась, – послезавтра утром, когда здесь не будет гуманоидов, все пройдет. – Она повернулась и, ловко изгибая свое мягкое, словно бы лишённое костей тело, двинулась к себе, в противоположную сторону, стараясь не зацепить ни один из столиков. Провела свое тело к столу, как лоцман высокого класса, в задымленной атмосфере кафе даже ничто не колыхнулось.

Все было просто и понятно, как Божий день. Суханов посмотрел на часы – Ольга запаздывала.

В правом дальнем углу, под стенкой, на которой тускловатыми слепыми пятнами светилось несколько алюминиевых блюд, изображающих, кажется, сцены из жизни богов, впрочем, может, и не богов, а римских или греческих чертей, либо рыб или слонов, издали трудно разобрать, и вообще, что означают эти творения, объяснить, наверно, может только сам художник, – сидел седой загорелый человек в черной морской форме и «четырьмя мостиками на ручье» – четырьмя золотыми шевронами на рукаве, что соответствовало капитанскому званию. Суханов несколько раз видел этого человека, но не был знаком с ним, слышал только, что тот водил когда-то большой сухогруз, но потерпел аварию в море Лаптевых, спас команду, а судно спасти не смог – вместе с грузом ушло на дно. Трое суток люди вместе с капитаном, озябшие, в мокрой одежде, практически без еды, сидели на берегу и, ожидая помощи, кое-как поддерживали маленький слабый костерок. Топлива на берегу не было никакого, только камни и мерзлый мох, и команда скормила огню свои записные книжки, деньги, документы – жгли все, что только могло гореть. Последнее, что капитан бросил в костер, был его судоводительский диплом.

С тех пор он уже не плавал, на море поглядывал лишь из окна своей квартиры, да приходил в это кафе, сидел, молчал, слушал разговоры, рассматривал моряков и потихоньку потягивал что-то из «шайки». У него были седые длинные волосы, красное, просоленное, пробитое, выстуженное морскими ветрами лицо, внимательные умные глаза и неторопливые манеры человека, который знает нечто такое, что мало кто знает. К столику капитана подсел бич и щелкнул пальцами, подзывая официантку. К нему подошла Неля.

– Сто граммов водки, – потребовал бич.

– А деньги у тебя есть? – спокойно, на «ты» спросила Неля – она умела разговаривать с разной публикой, в том числе и с такой, видела людей насквозь, знала, кто есть кто и что есть что, была хорошим психологом, как вообще часто бывают хорошими психологами торговые работники; бич дернулся, словно его стегнули плетью, хотел ударить себя кулаком в грудь, возмутиться, но ему не дал капитан, посмотрел внимательно на Нелю, та даже смутилась от этого пристального взгляда, но вида не подала, что смутилась, продолжала стоять, гордая и прямая, с блокнотиком заказов, зажатым в правой руке, и тогда капитан сказал:

– У меня есть деньги. Дайте ему. Я заплачу.

– Вот видите, он заплатит! – восторженно выкрикнул бич и потыкал пальцем в капитана: неприятный жест, вызывающий недоумение и горечь, как недоумение и горечь вызывают сами бичи – неистребимая принадлежность северных портовых городов. Сколько с ними милиция ни борется – справиться не может, и выселяет их, и переписывает, и на работу пристроить

пытается, и на постой определяет – все бесполезно: живут бичи на земле вольно, без хлопот. Где хотят, там и ночуют, пьют, не заботясь о том, что за это надо платить, приворовывают потихоньку, ворованное продают, и нет никаких сил у милиции совладать с бесчинствующими элементами – ползут бичи, распространяются, словно червяки, съедают листья у деревьев, оставляя после себя вытоптанную, загаженную землю да черные, голые стволы.

И без бичей в порту не обойтись, между летом и зимой всегда бывает вилка. Летом работы полно, в два раза больше, чем зимой, – несмотря на то что порт работает круглогодично, не замерзает ни в какую, даже самую лютую зиму, – но все равно в январе работы в два раза меньше, чем в августе, и естественно, позарез бывают нужны сезонные рабочие. Вот тут-то бичи и пригождаются, тут-то они – надежда и опора портового начальства, передовики производства, да и на пароходах, когда кто-то заболевает, а подмену толковую найти сразу не удастся, взор тоже обращается к бичам. Хотя капитаны делают это редко – уж больно ненадежен материал-то. Но, увы, не всякий капитан так рассуждает, иные считают: авось у бича совесть пробудится.

Вот и живут, плодятся бичи в Мурманске и Тикси, в Охе и Южно-Сахалинске, в Певеке и Магадане, неистребимое цепкое племя, крикливое, биндюжье, безденежное, опустившееся.

Бич лег на стол грудью, наклонился к капитану и по-голубиному заворковал. Что он там говорил – не было слышно. Суханов снова глянул на циферблат часов: Ольга должна бы уже быть здесь, в кафе, но увы... Хуже нет, когда договариваешься расплывчато, не назначая точного времени – приходи туда-то, мол, и все, а надо договариваться точно: приходи во столько-то, и тогда не будет пустых терзаний, маяты и неясности, мучительного долгого ожидания. Может, встать и пойти к телефону-автомату, снова позвонить Ольге?

Нет, не стоит суетиться. Суета нужна только в двух случаях жизни, в третьем она уже лишняя.

А женщина, которую он ждал, еще не выходила из дома. Уже одетая, в высоких сапогах, с туфлями, положенными в полиэтиленовую сумку, она стояла посреди своей квартиры и вела разговор с человеком, сидевшим перед ней в кресле. Хотя лицо ее было спокойным, даже каким-то застывшим в неестественном внутреннем оцепенении, в некой напряженной немоте, которая, случается, накатывает на человека в минуту возбужденности, когда невольно кажется, что земля уходит из-под ног, кренится набок, все летит прахом и сам человек через минуту-другую унесется в преисподнюю, и, чтобы хоть как-то отдалить конец, одолеть все это, он цепенеет, лицо его делается каменным, неживым, излишне спокойным.

Мужчина, сидевший в кресле, хорошо знал Ольгу и вел неторопливый разговор, курил, стряхивал пепел в фарфоровую розетку, зажатую в пальцах, и с каждым таким стряхиваньем Ольга болезненно прищуривала глаза: розетка не для пепла была предназначена – для варенья. Мужчина пришел внезапно – Ольга не ждала его. Неожиданно раздался звонок в дверь, Ольга открыла и с каким-то слепым удивлением отступила назад: на пороге стоял Вадим с букетиком подснежников.

– Вот, – сказал Вадим и протянул Ольге букетик, – у человека в большой кепке купил.

«Ох, какое это все-таки неудобство, когда в дом приходит незваный гость, – подумала Ольга, понюхала подснежники. Цветы пахли чем-то слабым, лежалым, мокрым – наверное, тающим снегом и проступающей сквозь него землей, вязкой, кое-где с ледяными монетами, влажной, еще не проснувшейся, заставляющей сжиматься сердце: будто сделал некое открытие, а открытия-то никакого и нет. Поморщилась. Когда гость вваливается внезапно, то... в общем, есть тут нечто такое, что невольно заставляет морщиться. Хотя Вадим – это Вадим, – лицо ее на несколько секунд расслабилось, она ощутила в себе что-то теплое, доброе, будто подседа к огню и почувствовала горячий плеск пламени.

– А знаешь, почему грузины носят большие кепки? – спросил Вадим и тут же ответил: – Чтоб брюки не выгорали.

Не дожидаясь приглашения, прошел в комнату, опустился в кресло, посмотрел на свою обувь, Ольга тоже посмотрела, хотела сказать что-то, но Вадим не дал ей это сделать, пояснил с доброжелательной широкой улыбкой: «Как видишь, ноги у меня чистые, я по улице почти не ходил, все в такси ездил». Пошарил в кармане, достал сигареты и спички, одну сигарету сунул в рот, побрякал коробкой, проверяя, есть «топливо» или нет, вздохнул:

– Замотался я сегодня, как Александр Македонский в Египте. С самого утра на ногах, – просветленными глазами оглядел Ольгу, спросил с улыбкой: – А ты, я вижу, куда-то собралась? Одна? Без меня?

– Да, собралась, – сказала Ольга, – недалеко и ненадолго, – махнула рукой. Жест был неопределенным. – По одному важному делу.

– Без важных дел ныне редко кто куда ходит. Категория чистых бродяг, увы, перевелась.

– Надеюсь, ты меня за бродягу не принимаешь? – Ольге вдруг захотелось хоть чем-то досадить Вадиму.

– Упаси Господь. Ты у нас современная деловая женщина, которая не тратит времени попусту – все рассчитано, все расписано. – Вадим говорил, голос у него был мягким, обволакивающим, такой голос опасен, он расслабляет, зачаровывает – она понимала, что будет слушать Вадима до бесконечности, о чем бы тот ни говорил – о пустяках или о крупном, о грядущем всемирном потопе, о событиях, покрытых плесенью времени, либо же о том, что у него ноет отдаленная в магазинной толчее нога, когда он покупал для Ольги торт и шампанское.

Строгий расчет и обязательную расписанность времени, когда не допускаются ненужные траты, – это все Вадимово, он никогда не транжирит и не жжет попусту минуты, у него не бывает пустых пауз, все подогнано друг другу плотно, без щелей, ни одна секундочка не свалится на пол со стола.

– Я прошу тебя, не уходи, – проговорил Вадим, не меняя тона, голос его продолжал оставаться ласковым, убаюкивающим. – Ну, пожалуйста, Ольга!

– Не могу.

– Я тебе шампанское принес, пирожные, которые ты любишь. Посидим, поговорим. Куда тебе идти в такой мороз? Хрупкой слабой женщине... Да этот мороз портовых грузчиков с ног сбивает!

– Пойми, мне надо уйти. Я обещала!

– Куда именно надо уйти? Скажи, и я тебя отпущу. – Вадим засекал каждое ее движение, каждую перемену на лице, заметил и тени, что появились под глазами, и усталые морщинки, обметавшие уголки губ, и беспокойно расширенные зрачки – видел то, чего не могла увидеть без зеркала сама Ольга. Усмехнулся грустно. – Недавно я открыл один заграничный журнал рисованный, «Ателье» называется. Карикатуры. На все темы жизни. Есть там один простенький рисунок. На проводах сидят две маленькие серенькие птички – кажется, воробьи. А может... Не суть важно – воробьи, в общем. Он и она. Она ничего, обыкновенная птичка, а у него на маленькой хрупкой головке – огромные олени рога. Это надо же – у воробья ветвистые олени рога! Скажи, откуда у воробья могут быть такие рога?

Ольга молчала. Она думала о том, что же конкретно связывает ее с этим человеком. Кем он ей приходится? Мужем? Любовником? Хорошим знакомым? Другом, без которого никак нельзя обойтись? В ней возникло что-то протестующее, но, увы, далекое – это душевное движение было слабым, неприметным, оно угасло, не успев разгореться, на лице ее, спокойном, застывшем в каком-то странном отрешении, ничего не отразилось.

Все мы глупеем, превращаемся в людей, незнакомых самим себе, и одновременно робеем, будто цыплята, только что выбравшиеся из-под наседки, делаемся почтительными, как взятые за ухо школяры, когда узнаем, что кто-то находится выше нас. Неважно, в чем выражается это превосходство, в служебном ли положении в книге, которая получила признание, в научном открытии, либо просто в искрометных остроумных речах – все равно! Мы будем сму-

щаться, робеть, прятаться в некую душевную скорлупу, зажиматься, чувствовать себя черной костью, ибо в мозгу, в самых дальних закоулках теплится, сверлит голову мысль: а ведь этот человек стоит выше... Почему все это происходит, кто может объяснить причину такой зажатости? Почему Вадим стал таким? Ведь он всегда был сильным, умелым, способным вести за собою, покорять – и вдруг квелость, робость, погруженность в самого себя? Он готов хныкать от того, что на спине вскочил прыщ, а на пальцах натерты мозоли, стал склонным к наушничанью и сплетне – вещам, как известно, совсем немужским.

– А ты красивая женщина, Ольга, – Вадим пустил изо рта дым колечком – ровным, четким, хорошо видимым в сумраке затененной комнаты. Колечко высветилось мертвенной синью, задрожало, будто живое, поползло вверх. – Ты престижная женщина, Ольга!

– Как дубленка фирмы «Салан», – усмехнулась она, – и надеть приятно, и в ломбард заложить можно.

– Красивая женщина – подарок и наказание одновременно, – Вадим не обратил на Ольгин выпад внимания. – А чего больше – никому не ведомо. Ник-кому. Потому и маются сильные мира сего, не зная, как с такой женщиной обходиться: то ли как с подарком, то ли как с наказанием? Действительно, как?

Внутри у нее снова родился протест, но протест опять был слабым, он снова так и не разгорелся, угас. Но она поняла в эту минуту, чем держит ее этот человек. Обычной вещью: в нем все время появляется что-то новое – каждый раз он преподносит нечто неведомое ей, свежее – некую историю, эпизод, анекдот, даже пошлость, которая у него не выглядит пошлостью, какую-то мысль, находящуюся на поверхности, но, увы, до Вадима никем не подмеченную, либо точно увиденную деталь, или характер знакомого человека: вроде бы человек был ведом всем – все знали его в определенной ипостаси, и вдруг он приоткрыл створки и сделался другим – именно эти моменты душевной раскупоренности умеет подмечать Вадим.

Он постоянно имел на руках, выражаясь словами современных технократов, пакет информации. Ведь человек интересен нам до тех пор, пока он владеет этим пакетом, сообщает нам нечто новое, неведомое, остро и тонко подмеченное; как только он начинает сбиваться, повторяется, так все – этот человек исчезает для нас. Как собеседник он делается неинтересным.

Вадим знает, в чем фокус, где зарыта собака, он психолог и в соответствии с этим и действует. Часто это «новое» бывает скрыто не в тексте, а в подтексте, не в словах, а в тоне.

– Извини, мне надо идти, – произнесла она сухо.

Вадим не шелохнулся в кресле.

– А если я к тебе обращусь с молитвой, а? Попрошу не уходить?

– Мне все равно надо будет уйти.

– От «надо» до «должно» – большое расстояние, – сказал Вадим, и Ольга подумала, что, несмотря на интересность, он большой зануда. – Если измерять обыкновенным складным метром, то...

– Бытовая философия!

– Философия сегодня стала общедоступным удовольствием, больше всего философствуют на кухне, философствуют все – от домохозяек до кочегаров, обслуживающих бани. Красиво жить не запретишь, увы, – Вадим стряхнул пепел в розетку и развел руки в стороны, – все мы философы и актеры, и как только сочетаем все это в себе – уму непостижимо... Но все! Одни в большей степени, другие в меньшей. Исключение, может быть, составляют люди, которые имеют одну лишь извилину. Да и ту, извини, не в голове. – Лицо Вадима сделалось грустным, отсутствующим, в нем будто бы что-то умерло, глаза потемнели. Он снова пустил аккуратное сизое кольцо, кольцо, гибко шевелясь, распуская свое тело, медленно поползло вверх, Вадим не дал ему уползти, рубанул ладонью, обратил в обычный дымный взболток, резким движением руки отбил к полу. Проговорил грустно: – Вот так и в жизни!

Когда Вадим бывал грустным, Ольге обязательно хотелось пожалеть его – такова бабья натура. Со всеми ее издержками.

– И что в жизни? – спросила она тихо.

– Тяжело бывает взять какую-нибудь высоту, ох как тяжело – зубы все потеряешь, пока не вгонишь флагшток в холодный камень вершины, но куда тяжелее бывает удержать ее.

– Ну-ну, выше голову, – произнесла Ольга ненужную бодряческую фразу. Будто не она говорила. Поняла, что не надо было и произносить. Хотела что-то добавить, поправить сказанное, но не стала, махнула рукой.

– Вот она, во-от она-а, расхожая бабья философия: все впереди, все-е... Позади только хвост. – Лицо Вадима сделалось еще более грустным, появилось в нем что-то угрюмое, зажатое, чужое. – Хвост, – повторил он, словно бы любясь тем, как звучит это слово: – Хвост... – Вдохнул. – «Мурманск телеграф-сервис» набирает на работу шестнадцать девушек, восемь блондинок и восемь брюнеток, для увеселения моряков, празднующих на берегу именины, дни рождения и повышения по службе...

– О чем это ты? – не поняла Ольга.

– Шутка, на Западе распространенная очень широко. Какая-нибудь честная кампания, отмечающая в баре торжество, заказывает на «телеграф-сервисе» девушку, та приходит, целует всех подряд, на лице главного виновника оставляет красных следов в два раза больше, чем у других, ведь за помаду все равно уплачено, получает свои десять долларов и под громкую бравурную музыку уходит. Этаким шоу-бизнес. И кампании приятно, и у девушки заработок.

Ольга передернула плечами: опять Вадим перегибает палку. Все-таки цвет у пошлости всегда бывает одинаков. Полутонов почти нет. Ей стало неприятно.

– Одни заказывают себе стриптиз на дом, другие – «Аллилуйю» в исполнении популярных сладкопевцев, любителей подработать, третьи – синяк под глаз неуголному сослуживцу, а кое-кто вообще нанимает людей, чтобы устроить своему шефу публичный скандал при стечении народа, где-нибудь на многолюдной площади. Красиво, а! И люди это делают! Унижают, компрометируют несчастного шефа, обрывают у него пуговицы на пиджаке, оскорбляют, заставляют плюхнуться на живот и лизать чужие ботинки. Комедия жизни, она... что там, что тут – она везде комедия, – Вадим снова развел руки в стороны, стряхнул пепел в розетку.

– Извинись сейчас же, – тихо попросила Ольга.

– Извини, пожалуйста, – Вадим улыбнулся широко, открыто – улыбка, которая ей нравилась, на лице его возникло некое суматошное движение, и это движение вызвало у Ольги ответную улыбку. – Ну вот, – вздохнул Вадим облегченно, – вот ты и оттаяла, вернулась из-за облачных высей на землю. Я с тобою разговаривал, а ты не слышала. Это была ты и не ты одновременно. Ты здорова? Хорошо себя чувствуешь?

– Хорошо.

– Тогда прошу – не уходи.

– Эх, Вадим, Вадим, ведь ты же... – Ольга мотнула рукой, сбивая наземь дымовое кольцо, устремившееся к ней, хотела сказать, что Вадим ведет себя, как баба, но не стала ничего говорить – ей расхотелось обижать этого человека.

– Мужчина ведет себя так, как позволяет ему женщина, – угадав, о чем она думала, проговорил Вадим. – Неписаная истина.

– Фраза, за которой ничего не стоит.

– Ой ли! – живо воскликнул Вадим, сморщился обиженно, словно у него что-то заболело, перехватило дыхание, на лбу выступили мелкие блестящие пота. – Хочешь, я на колени плюхнусь перед тобой, попрошу, чтоб ты не уходила, а? Хочешь?

– Нет, не хочу, – Ольга приблизилась к Вадиму – что-то в ней дрогнуло, сместилось. Она подумала, что не должна, не имеет права мучить этого человека, и вообще в этой ситуации она обязана быть добрее, чем на самом деле. Но тогда как же Суханов?

Почувствовала, что терпит крушение, судно, на котором она плывет, потеряло управление, врезалось в камни, в пролом хлынула вода, еще немного, и корабль опрокинется, ткнется мачтами в донный песок и никогда никуда уже не поплывет. Видать, печальные люди испускают некие волны, лучи, эти волны передаются другим людям, заставляют их грустить, заботиться невесть о чем, ощущать тоску и тягу к теплу и душевному покою.

Досадливые морщины сползли с лица Вадима, обида стекла, он почувствовал перемену в Ольге, спросил тихо:

– Тебе плохо?

– Да.

– Тебе со мной плохо? – попытался уточнить он то, что не надо было уточнять, увидел, как в Ольгиных глазах вспыхнуло что-то колючее, яркое, понял, Ольгу лучше ни о чем не спрашивать. Он был все-таки умным человеком, этот Вадим, понимал, когда идет карта в игре, а когда нет. – Ох и женщина! – воскликнул он, и Ольге почудилась в его голосе горечь.

А Суханов все продолжал ждать, хотя ждать уже не надо было, посматривал на часы, прислушивался к шумному говору молодых соседей и думал о том, что он, возможно, обманывает себя, придумав историю с Ольгой, с тем, что он в нее влюблен, а она, в свою очередь, влюблена в него. Впрочем, насчет того, что Ольга в него влюблена, может быть промашка, в этом надо еще здорово покопаться, посоображать, что к чему, свести концы с концами, и если концы действительно сойдутся, то осторожно сказать самому себе – да, синьор, она в вас влюблена. Шепотом, втихую, только для себя и ни для кого из окружающих. Чтобы не опозлить, не оскорбить светлое чувство. Суханов вдохнул: похоже, что он имеет две души, два начала, в море он один, на земле – другой. В море у него и решительности больше, и хватки, и смелости, а на земле его, глядишь, вот-вот озноб пробьет – из-за того, что не пришла женщина. И вообще, чуть что – походка уже делается деревянной, чужой, кости ноют, в голове появляется медный звон, в теле вялость, словно бы он сам себе не принадлежит.

Он никогда не задумывался над тем, есть у Ольги кто-нибудь, кроме него, или нет, а сейчас подумал – точнее, даже не подумал, а понял, твердо, окончательно определил – есть! Суханов знал, что Ольга была замужем за каким-то ломучим нервным парнем, который устраивал ей бабьи истерики, пытался бить, но Ольга умела постоять за себя, и тогда парень, понимая, что ничего у него не выходит, Ольгу он не утратит, не покорит, заливался слезами, рыдал, ползал перед ней по полу, целовал ее туфли и громким патетическим голосом, будто трагический актер, выкрикивал разные лозунги. Ольгин муж работал на телевидении то ли режиссером, то ли оператором, то ли организатором массовок – кем точно, Суханов не знал и никогда не задавался этим вопросом, а Ольга не говорила – в общем, был тот человек близок к искусству и старался эту близость оправдывать показательными выступлениями в жизни.

В конце концов он смертельно надоел, и Ольга ушла от него.

Что-то острое, сильное, болезненное пробило Суханова, заставило вздрогнуть, он сморщился, звуки кафе уползли куда-то в сторону, истаяли, и в наступившей пронзительной тишине он услышал стук собственного сердца, бившегося мерно и горько, словно метроном, установленный на братской могиле, ощутил острую секущую тоску, и ему сделалось трудно дышать. Так иногда бывает тяжело дышать на высоких широтах в гулкой мороз – стужа выедает кислород в воздухе, воздух становится крепким, как спирт, и, кажется, таким же сухим и горьким, хватанешь его, а он колом застревает в глотке, ошпаривает нёбо и язык – не воздух, а растворенный в огне металл. Вот и сейчас Суханову показалось, что он хватил полным ртом именно такого жгучего морозного воздуха. Почудилось, что у него на глазах выступили слезы, но слез не было. А может, и были они, но только недолго держались – испарились почти мгновенно. Подошла Неля, сделала укоризненное лицо, уперла руки в бока.

– Что же вы, Александр Александрович, не едите, не пьете ничего?

– Время не подошло.

– Раньше дамы не рискуете начать?

– Как и положено офицеру флота, Неля, – произнес Суханов грустно и чуть манерно, потянулся за сигаретой, закурил. Состояние озноба, душевной боли прошло, а вот печаль осталась: он понимал, что с ним происходит, корнями волос, мышцами своими, плечами, черт возьми, чувствовал жизнь этого кафе, интересы, которым были подчинены собравшиеся, связь столов, что, казалось, совсем не связаны друг с другом, а на самом деле связаны, понимал и свое состояние, и причину Ольгиной задержки... Значит, все правильно, значит, его догадка верна. Но тогда почему же Ольга ничего ему не скажет, не даст понять хотя бы намеком, хотя бы полусловом или полужестом, что он лишний в ее жизни? Ведь это же очень просто, – и он снимет фуражку, поклонится, уйдет.

– Не грустите, Александр Александрович, – сказала Неля. Она все прекрасно понимала, чутьем обладала отличным, как некий совершенный прибор, ей ничего не надо было объяснять, она и успех, и поражение чувствовала на расстоянии, загодя, когда человек, с которым должны были произойти изменения, о них еще даже не догадывался. А уж что касается тонкостей обманутой души, семейных разладов, боли и примирений, то по этой части Неля могла бы написать учебник – ведь многое происходит у нее на глазах, здесь же, в кафе.

Хотел сделать Суханов веселое лицо, скрыть свое состояние, но вовремя остановился – ни к чему это, Неля все равно раскусит его.

Вяло помотал в воздухе рукой, улыбнулся.

– В жизни, как в кино, Неля. Все течет, все изменяется.

– Она придет, Александр Александрович, обязательно придет, – убежденно сказала Неля и посмотрела в угол, на столик, за которым сидели капитан и бич, коротая время в мирной беседе.

Неля всегда все чувствовала заранее. Поговорив немного, бич вдруг решил, что маленькая война лучше, чем большой мир, взлохматил волосы у себя на голове, засверкал очами, которые засветились у него по-кроличьи красно, налился помидорным цветом и неожиданно резко вскочил. Прокатал в горле металл, ударил себя кулаком в грудь и громко, сочным басом, будто выступал со сцены, объявил:

– Внимание, товарищи! Этот человек только что украл у меня десять рублей! – демонстративно потыкал пальцем в капитана.

Капитан никак не отреагировал на заявление бича, он сидел, не двигаясь, и спокойными внимательными глазами смотрел на бича. Шум в кафе утих. Бич сделал стремительный прыжок – и откуда у него только запал такой чемпионский взялся? – и оказался у столика с пирующей молодой кампанией. Был он лохмат, но хорошо выбрит, кожа на лице у бича была гладкой, чистой, какой-то женской, пальцы с длинными ногтями возбужденно подрагивали. Потряс за плечо парня, пытавшегося командовать молодежной кампанией.

– Будешь свидетелем, моряк! – закричал бич.

– Каким свидетелем? – не понял парень.

– Когда это дело в милиции станут разбирать.

– Пошел вон! – не выдержал моряк, сжал губы в щепоть, словно хотел плюнуть в бича, но сдержался и стряхнул с плеча его руку.

– Ты, капитан, тоже будь свидетелем! – кинулся бич к сухановскому столику.

– Нет, – Суханов покачал головой.

– Эт-то что же, товарищи-граждане хорошие, делается? – бич, как настоящий актер, заломил руки, поднял глаза к потолку. «Товарищи-граждане хорошие» молчали. – У человека украли последние десять рублей, и никто даже знать об этом не хочет! А? – пытался ораторствовать бич. Он взывал к сочувствию, разламывал руками тугие слоистые лохмы табачного дыма, утопал в них, кашлял, перемещался от одного столика к другому, заглядывал в глаза

людям, бил себя в грудь, шептал что-то, потом снова поднимал шепот до крика. – Как же быть с моим червонцем?

– На тебе червонец, только перестань маячить перед глазами, – сказал ему Суханов, достал из кармана кредитку, сунул в мгновенно подставленную руку.

– Спасибо, капитан, – жарко дохнул бич, – чтоб под килем у твоего парохода всегда сто футов было. Нет, сто – мало... Сто пятьдесят!

Хотел его Суханов обрезать, но не стал, что-то жалостливое, чужое, по-детски незнакомое возникло в нем: ведь бич – тоже венец природы, тоже мать-отца имеет. И паспорт в кармане. Отвернулся в сторону: все это сопли, извините за выражение, работать надо, а не концертной деятельностью заниматься. Бич заметил отчуждение на лице Суханова, весело подмигнул ему, глядящему неведомо куда, покорно умолк и вернулся назад, к своему столику. Капитан ни словом, ни движением не отозвался на возвращение бича, он обитал где-то в самом себе, в темной, куда не проникает свет, глуби и думал о чем-то своем, тяжелом, лицо его от этой думы осунулось, возникло на нем выражение сострадания.

На бича он внимания не обратил, – видать, привык к подобным выходкам. Ему не раз приходилось участвовать в спектаклях, улыбаться и изображать оживление на лице, но всегда, в любую, даже самую оживленную и громкую минуту он умел погрузиться в себя, думать о чем-то своем, потайном, далеком, хмуром, к общему веселью не имевшем отношения.

Бич огладил себя руками, поправил растрепанные волосы, произнес, глядя на капитана и одновременно сквозь него:

– Ну вот, мореход, видишь, сколько у тебя заступников оказалось? – Хмыкнул: – Больше, чем у меня.

Капитан молчал. Бич помотал рукой в воздухе, собираясь еще что-то добавить к сказанному, но в это время к нему невесомой пружинистой походкой подошла Неля, и бич, в чьем мозгу загорелся красный огонек опасности, повернулся к ней готовно, расплылся в широкой улыбке.

– Что скажешь, дорогая подружка? – чистым звучным голосом поинтересовался он, приподнялся на гнутом ресторанном креслице.

– Вот-вот, верное движение, – сказала Неля, – пора подниматься окончательно.

– Так быстро? – довольно натурально удивился бич.

– Да, пока разных бед не натворил.

– Фи, маркиза, рыбу-то ножом, – бич пофыркал недовольно и сделал обиженное лицо.

– А ну быстро! – скомандовала ему Неля. – Если через несколько минут здесь не будет трех «ша», за себя и за администрацию кафе я не ручаюсь.

– Что еще за три «ша»? – Бич готов был вылететь на улицу без пальто и без шапки, распахать собственным телом какой-нибудь сугроб, но лишь бы узнать, что такое три «ша».

– Штоб штало шпокойно, – ответила Неля.

– Слишком много шипящих среди согласных! – с пафосом воскликнул бич.

В это время в двери кафе появилась Ольга, и Суханов, почувствовал, как в нем что-то оборвалось, в груди возникла сладкая печальная пустота, в которой гулко и одиноко заколотилось встревоженное сердце. Такое бывает, когда посреди ночи вдруг над самым ухом закричит, отмечая недобрый колдовской час, петух. Человек вскакивает с колотящимся сердцем, хватается ртом воздух, пытаясь понять, что же такое происходит, но понять ничего не может и обваливается в пустоту с гулким, наполовину надорванным и оттого вхолостую работающим сердцем.

Суханов Ольгу сразу увидел, Ольга тоже мгновенно засекала его в оживленном многолюдье, наткнулась на восторженный взгляд бича и брезгливо поморщилась. Суханов подумал, что Ольга обязательно выскажется насчет того, в какие места прилично ходить, а в какие неприлично, и собрался уже было сочинить что-нибудь романтическое про это кафе, взбурлить вин-

тами воду, чтобы не было видно дна, но вместо этого Ольга просто повела головою в сторону, спросила тихо:

– Что за Новгородское вече? Никогда не думала, что оно может в Мурманске собираться на заседания.

– Народ воспитывает бича, – ответил Суханов.

– Других проблем у народа нет?

– Увы. Одна страсть одолевает другую. И бич – страсть, и народ – страсть! Все хотят не только хлеба, но и выхода своим страстям.

– Пил сегодня? – спросила Ольга.

– Умеренно. Лекарство. Химическая формула: це два аш пять оаш!

Ольга согнула крючком изящный палец, показала Суханову.

– А?

– Нет, не загибаю. Следую совету мудрого классика, что в пьянстве опечаленный ищет облегчения, трусливый хочет почерпнуть храбрости, нерешительный – уверенности, съедаемый тоской – радости, но все находят лишь одно, – он звонко щелкнул пальцами, показывая, что же находят в «огненной воде» любители выпить, и обреченно приподнял плечи.

– Немудрых классиков не бывает.

– Еще как бывает, – он встретил Ольгу, потом, обогнув ее, первым прошел к столику. – Извини, тут так тесно, что обязательно нужен штурман для прокладывания курса. – Оглянувшись, увидел, что Неля все-таки подняла бича, тот судорожно вцепился пальцами в край стола – ему не хотелось уходить, в глазах появилось что-то задавленное, щенячье, униженное, он готов был бухнуться перед официанткой на колени, но Неля была безжалостна и, несмотря на хрупкую внешность, сильна, обладала некой гипнотической мощью, могла даже на расстоянии дать человеку пинка. Бич почувствовал эту силу и сник.

Через минуту Неля выставила его за дверь. Капитан даже не шелохнулся, он молча продолжал сидеть за своим столом: все происходящее по-прежнему его не касалось, он был выше всего земного, парил под облаками, словно орел, парил над облаками и думал свою думу.

– Откуда пришло слово «бич»? – спросила Ольга.

– Откуда-то с Запада. Там, по-моему, бичами называли людей, живущих на пляжах.

– «Бич» в переводе с английского на русский и есть пляж.

– Лишнее подтверждение, что бич – беспаспортный человек. Пляж-ный. Видишь, я почти не ошибся.

– Вот оно, достойное и нужное в современной жизни слово «почти». Если хотят что-то сказать и вместе с тем ничего не сказать, то обязательно употребляют слово «почти». Почти! – Ольга легко отбила рукою что-то мешавшее ей, послала в прокуренный воздух, хотя ей ничего, наверное, не мешало – движение было предупреждающее и одновременно указующее.

Суханов отметил, что Ольга изменилась: раньше в ней жила, какая-то надломленность, беззащитность, и эта беззащитность, может быть, больше всего притягивала Суханова, а сейчас она исчезла – и Ольга изменилась. Что-то в жизни ее произошло такое, о чем Суханов не знает, но что очень заметно. И резкость эта, и независимые, отсекающие возражения жесты, и даже опоздание ее. Раньше Ольга никогда не опаздывала – знала, что Суханов сам не опаздывает – позволит себе опоздать только в том случае, если попадет под трамвай, да и то, безногий, обязательно приползет на встречу, и другим опозданий не прощает – бывает колюч, насмешлив, больше трех минут никого не ждет, и если три минуты проходят, круто разворачивается и исчезает. Хотя тут Суханов оказался припиленным к «Театральному», как бабочка к фанерке юнната.

Ольга опоздала и даже не извинилась за опоздание – да, что-то в ней изменилось, произошло отторжение клеток, мышц, нервных волокон, делавших раньше ее беззащитной, хрупкой, слабой, требующей укрытия.

– Бичей можно найти в любом портовом городе, особенно северном. К северным городам они прикипают мертво, никто с ними не в состоянии совладать, зимой живут на чердаках и крышах, летом уходят в порт. Ладно, не будем об этом.

Суханов прикоснулся пальцами к Ольгиной руке, погладил, проговорил тихо:

– Я рад тебя видеть!

– Я тоже.

– Выпьем за это?

Ольга молча потянулась к нему, и это короткое движение вызвало у Суханова порыв благодарности, теплого щемления – выходит, ничего в жизни не бывает безответным... Благородство рождает ответное благородство, сила – силу, тепло – тепло, ничто не пропадает бесследно, все взаимосвязано. Значит, не все у него потеряно, не так уж он ей безразличен. Столкнулся взглядом с ее глазами. Глаза у Ольги были смеющимися, серыми, дождистыми. Уголки рта у нее тоже смеялись, подрагивали, хотя сами губы были сжаты; тонкие, четко очерченные ноздри расширились – Ольга засекала в нем что-то такое, чего и сам не мог засесть, и почувствовал себя беспомощным, замерзшим. Ну будто зверек, этакая смесь песка с полярной мышью, что с жалким мокрым взглядом и уныло обвисшей шкуркой на худом крестце, подползает на задних лапах к железному борту судна, с той стороны, где находится камбуз и где всегда вкусно пахнет жареным мясом, тушеными по-капитански курами, скулит, стонет, прося какой-нибудь бросовый кусок, а вместо куска хлеба в зверька раскормленный верзила-кок швыряет обломок гаечного ключа. Да норовит бросить так, чтобы ключ попал в голову.

Что-то сжалось в Суханове, но он справился с собой, улыбнулся ответно Ольге, помял пальцами сигарету: все время тянет на курево, дурацкая привычка, от которой надо избавляться, – надо, но он никогда не избавится от нее, даже вздувшиеся вены на ногах не заставят его расстаться с этой дурацкой привычкой.

– Да, насчет бичей... – неожиданно напомнила Ольга.

– Бич, как крапива, где хочет, там и произрастает. В Магадане, например, живут две категории бичей: «танкисты» и «летчики». «Танкисты» – это те, кто в лютую магаданскую зиму живут под землей, на трубах центрального отопления. По утрам они вылезают из своих убежищ и, чтобы выйти на улицу, отваливают большие круглые крышки водопроводных ходов, словно танковые люки. Поэтому их и зовут «танкистами».

– «Летчики», – естественно, те, кто живет на чердаках.

– Хорошо иметь дело с умной женщиной.

– Бойся умных женщин, Суханов.

– Бояться – тогда лучше уж не жить. На Камчатке бичей зовут соболятниками. Просыпается утром бич, протирает глаза кулаками и собирается на дело. «Куда идешь?» – спрашивают. «На охоту». Охотиться – это значит собирать пустые бутылки. «Много пушнины добыл?» – спрашивают, когда тот возвращается с охоты. «Восемь соболей и две чернобурки». Соболя – это светлые поллитровки, а чернобурки – бутылки из-под шампанского.

– Грустная жизнь у бичей.

– Но не такие уж они несчастные, танкисты и соболятники. – Суханов посмотрел на соседний стол, где жених и невеста совсем разомлели, словно куры, сделались квелыми и, похоже, не совсем уже отдавали себе отчет, где они находятся, что делают и вообще зачем все это: шумный говор, крики «горько» и звон бокалов?

Девчонки, которые ни разу не были в море, ввертывали в речь морские словечки, послушает их какой-нибудь парень из степной Оренбургской области или московский школяр – ничего не поймет, примет за жаргон. В общем-то, морской язык, если честно разобраться, и есть самый настоящий жаргон, что ни слово, то неясность, либо вообще нечто смешное, вызывающее смех и квохтанье у сухопутного жителя. А здесь, в Мурманске, все отмечено морем и пароходами.

Однажды Суханов отправился в Москву поездом номер шестнадцать, так проводница, узрев в нем родственную душу, долго плакалась, вытирала концами шерстяной шали мокрое соленое лицо, говорила: «Я живу без мужа, никто обо мне не заботится, в доме все опостылело, пустые стены, холодная плита, щи некому стоготовить, – и в заключение: – Все у меня плохо, пора на берег списываться». Вот какое морское выражение у сухопутной проводницы: «Пора на берег списываться». Такую фразу только житель Мурманска или Одессы и может произнести.

Поезд тот был безалкогольным, в вагон-ресторане спиртного ни капли, зато борщ и бифштекс – отменные, видать, кухней заправлял бывший судовой кок – любитель и сам вкусно поесть, и вкусно покормить других. Картошка к бифштексу подавалась специфическая, северная – сушеная. Из вагона в вагон ходила накрашенная женщина с впалыми бледными щеками, предлагала кефир и булочки. Кто-то спросил: «Булочки свежие?» – «Конечно, не тысяча девятьсот семьдесят девятого года». На судах за хорошую шутку выдают дополнительную пайку хлеба. К таким людям Суханов всегда относился с уважением.

Парень, верховодивший за соседним столиком, начал уговаривать честную кампанию пойти завтра на кальмаров: уж очень это увлекательная штука – ловля крупных, мускулистых, прожорливых кальмаров. В Мурманске и раньше кальмары были, но только все больше мелкие, незначительные. Народ брезговал ими, рыбаки вообще нос в сторону воротили, считали, нечего пачкаться, да и недолюбливали они страшноватых, похожих на медуз морских обитателей, с нечистью сравнивали и все больше по семге стремились ударить. А тут кальмары Osborne появились, настоящие гиганты, приплыли с теплой водой Гольфстрима – действительно огромные, по полтора килограмма весом.

Ловят кальмаров обычной удочкой, прямо с борта. Бросает ловец в воду тройник, привязанный к прочной капроновой леске, а кальмар, дурак, он ведь ходит с ослепительной скоростью, как торпеда, заметив движение, устремляется к тройнику, хватает его с маху – крючок прямо насквозь и пролетает. Иногда на одного кальмара навешивается еще двое-трое, ошибочно посчитавших, что первый кальмар добыл что-то съестное и теперь в одиночку расправляется с вкуснятиной. Жизнь у кальмаров коллективная, ничего индивидуального у них нет и быть, как говорится, не может, вот и вытягивает иной ловец из воды вместо одного кальмара трех.

Можно бросить в шипучую холодную воду и маленький крючок, кальмар возьмет и его, но выдернуть добычу уже не удастся – крючок пройдет насквозь – ведь тела-то, плоти нет, кальмар весь жидкий, и крючку не за что зацепиться.

– Не-е, не пойдем на кальмаров, – вдруг очнулся жених и разгладил на груди суконную форменную куртку. Сонливость с его лица стекла, взгляд из отсутствующего, далекого, потустороннего превратился в живой и заинтересованный.

– Чего так? – спросил его предводитель стола, сделал сухое строгое лицо.

– Завтра мы будем у нас дома ловить кальмаров. Всех приглашаю. – Жених снова разгладил форменку на груди, видать, от гомона, шума, необычности ситуации у него начали потеть руки, он вытирал их о суконную грудь.

– Ушла на базу – вернусь не сразу! – хмыкнул тамада недовольно, но потом, поняв, что у него ничего не выйдет, верх не удастся взять, мгновенно развернулся на сто восемьдесят градусов и выкрикнул громко, на весь зал: – Кальмары отменяются. Ур-ра! Жора, жарь рыбу! А где рыба? Рыба...

– ...будет, – кивнул жених.

– Жора, ешь больше компоту – он жирный, – предводитель стола любил старые анекдоты.

– И эти маленькие ребята плавают в Арктику? – с удивлением спросила Ольга.

– Плавают. И неплохо, представь себе. Мамы там нет, папы нет, заступиться некому, боцман ими командует. А из боцмана мама-папа, как из меня папа римский.

– Плавать в Арктике опасно?

– Иногда. Случается, плывешь, а навстречу шпарит, выставив деревянную пушку вперед, крейсер военно-морских сил страны Бегемотии. Чернокожие матросы на палубе скалятся, ром прямо из горла хлещут, кокосовыми орехами закусывают. Идут прямо в лоб, на ледакол. Если не отвернешь – крышка! Но ладно, когда ледакол один, а если сзади караван? Как тут отвернуть?

– По палубе матросы бегают, конечно же, в трусиках?

– В трусиках.

– А температура какая?

– Воздуха – минус пятьдесят, воды – минус четыре. Очень любят бегемотьевские матросы на северное сияние любоваться. Кокосами их не корми, дай посмотреть. Языками щелкают, пальцами показывают, фотографируют.

– При минус пятьдесят фотоаппараты должны отказывать.

– Они фотографируют дедовским способом: объектив утепленной чугунной крышкой закрывают. А фотоаппарат, чтобы не сорвался, шурупами к себе привинчивают.

– К рукам?

– Зачем к рукам? Бери выше – к груди. Чтобы каждый снимок сердцем чувствовать.

– И часто крейсера военно-морских сил страны Бегемотии в пути встречаются?

– Через день. А иногда и каждый день.

Суханов подумал о том, что он потерял самого себя, совсем не похож на того Суханова, которого знают друзья и знакомые, – ироничного, подтянутого, защищенного от всяких нападений, умевшего из сотни решений принимать одно, самое верное, а вот здесь он смят, зажат, и Ольга, которой тоже словно бы передалась его зажатость, удалилась от него, стала незнакомой, чужой.

– Ольга! – Суханов кашлянул в кулак.

– Что-то в мире происходит, Суханов, волны какие-то носятся вокруг нас. А может, это не волны – космические лучи, либо еще что-нибудь... Нити, волокна, круги – не знаю! Время наступило такое, что человек стал придатком машины, не он главный в жизни, а она. Семь грехов смертных – все у нее, и семь добродетелей... Что происходит, Суханов?

– Ольга, я прошу тебя не смеяться над глупостью, которую я сейчас скажу, – произнес Суханов.

– Хорошо, – пообещала Ольга и с интересом, хотя по-прежнему находилась не в «Театральном, а где-то в другом месте, взглянула на Суханова.

– Выходи за меня замуж, Ольга, – сказал Суханов.

Ольга вдруг коротко и как-то зло рассмеялась.

– Я же просил тебя не смеяться! И ты обещала! А, Ольга?

– Прости! – Она притиснула пальцы к вискам, помяла выемки. – Какой странный сегодня день. Иной бабе одного такого дня на всю оставшуюся жизнь достаточно. Прожить такой день – и куда угодно! Хоть в огонь, хоть в воду. Понимаешь, Суханов, я сегодня уже получила точно такое же предложение. Ровно час назад.

У него возникло ощущение холода, глубокой внутренней пустоты, тоски и безнадежности – будто он встал на край каменной бездны, мыски ботинок развел в стороны над страшной крутизной и начал медленно покачиваться на ступнях: вперед-назад, вперед-назад. Если подтолкнет кто-нибудь под лопатки, то он сделает последнее движение. Такое ощущение еще возникает, когда стоишь возле угрюмого поморского креста, мрачного, вымороженного, такие кресты разбросаны по побережью всего Кольского полуострова с четырнадцатого-пятнадцатого веков и с той поры служат людям верную службу: кресты сориентированы точно на север, на Полярную звезду, по ним люди, которые уходили и уходят в море, проверяли свои компасы. Кроме того, эти кресты поклонные – им молились.

– На мне женится, Суханов, только неумный человек, не замечающий ничего на свете. Рассеянный и неумный... Но ты же, Суханов, умный. Ты понимаешь – у-умный.

Г-господи, какая все это мелочь: умный человек, глупый! Да и какая, в конце концов, разница между умным и глупым человеком?

Разница между умным и глупым в том, что умный вначале обдумает, что хочет сказать, и уж потом решает: надо говорить или не надо, и очень часто не говорит, глупый же вначале скажет, а потом начинает оглядываться, обдумывать сказанное. Хотя, с другой стороны, правильно замечено, что дурак, сознавший в своей глупости, – уже не дурак. Умный никогда не заметит промаха собеседника, глупый – заметит всегда и не преминет вылезти с вытянутой рукой, сказать об этом. Вообще-то каждый человек имеет право быть глупым – и вряд ли кто станет останавливать, возражать, отговаривать, – только нельзя этим правом слишком часто пользоваться.

– Но это еще не все, Суханов, – Ольга тряхнула головой, плотные тяжелые волосы открыли виски, обнажили лоб и вновь легли вольно, накрыли плечи; видно, движение это было отработано Ольгой – так же как и манера держать предметы, глядеть, разговаривать; отработана была и «изобразительная часть»: рисунок губ, изящная, внешне почти невидимая подводка глаз, оттеняющая их блеск и глубокий цвет. Суханов заметил, что глаза у Ольги цвет свой меняют: еще десять минут назад они были глубокими, серыми, таили в себе что-то пасмурное, а сейчас вдруг посветлели, приобрели морскую голубизну, безмятежность, зрачки сделались черными, опасными. Холодная пустота в груди у Суханова расширилась, заколебалась – сейчас поползет пузырь вверх, начнет выстуживать сердце, легкие, ключицы, глотку.

Человек может ходить один по жизни только до определенной черты, наступит момент – и он обязательно попытается подыскать себе пару, иначе ему не одолеть старость, возможно, он даже в чем-то ошибется, вместо милого долгоногого существа с радостной улыбкой поведет под венец какую-нибудь прорву с выкрашенными в морковный цвет волосами, либо старуху со слезящимся взглядом и хромыми ревматическими ногами, на которые ничто, кроме галош да драповых домашних тапочек, не налезает... А возможно, что именно со старухой он и будет счастлив. Если, конечно, в нем все перекипело, перебродило, все подвиги оставлены в прошлом, подведена черта под большим куском жизни. А если не подведена?

В своей жизни Суханов немало поплавал, он работал спасателем, ходил на сухогрузах за границу, возил пассажиров в теплые моря, был удачлив и неудачлив одновременно – всего было понемногу, как у всякого человека, с Ириной, например, он потерпел неудачу, да такую, что когда сейчас думает о происшедшем, ему делается больно, внутри будто смоляная плешка загорается, начинает подпаливать сердце. Он вспомнил, как познакомился с Ириной. Давно это было. В ту пору он на спасателе плавал.

Одно судно из-за растяпства второго помощника капитана, несшего вахту, село на мель. Вообще большинство неприятностей почему-то случается в вахту вторых помощников: то банка какая-нибудь, не занесенная ни на одну карту, подвернется, то приглубая льдина вынырнет, то вдруг русалка на нос вскарабкается и, мокрая, одурающе броско, красиво посверкивающая в лучах прожекторов, уляжется у борта, руки в клюзовое отверстие сунет, вытянет их в изящном движении, чтобы ухватить пригоршней брызги, то еще что-нибудь произойдет, второй помощник обязательно захлопает глазами, растеряется, и все: дальше – дело техники, считай, что беда ему петлю-удавку на глотку накинула.

В таком месте то судно село на мель, где никто никогда не садился, у самого берега, в узенький, облепленный мелкими камнями наволок въехало. Тут этих наволоков – выступающих мысов – не так уж много, но все-таки есть, и довольно поганые, судоводители знают их наперечет, как собственные пальцы. Один из таких мысков, кстати, называется Погань-наволоком. Кто прозвал его так, по какой причине – неизвестно. Видать, обижен был человек, зуб имел – наволок тот недобрым оказался, принял в свою мягкую вязкую плоть судно того море-

хода и засосал навсегда. Есть Поп-наволок, есть Цып-наволок. Да мало ли их на мурманской холодной земле!

Наволок – это язык берега, земля, выступающая в море. Все наволоки крутые, с высоким срезом, каменные, видные издали, а Погань-наволок, и тот наволок, в который въехало судно, – плоские, как блины, мокрые, хлюпающие, того гляди, плоть их разявится, с чмокающим холодным звуком втянет в себя все, что окажется на поверхности: человека, шлюпку, катер, птицу, неосторожно севшую на песчаный срез, палатку, наскоро срубленный дощаник...

Почему пологие пляжи считаются плохими? Да потому, что волна закручивается на них, вихрит песок и стаскивает его назад, в море. Такие наволоки надо обходить далеко, за добрые две мили, чтобы не видеть, как вода набегаёт на вязкую плоть, взметывается валом, дыбится крутой водяной горбушкой, под которой, кажется, глубь должна быть страшная, а никакой глубины там нет, сплошное обманное мелкотье, где судно легко садится на киль.

Второй помощник капитана и обманулся высоким валом воды, посадил свое судно. Не на киль, конечно, но все-таки прочно посадил – своим ходом не одернуться, нужна была помощь. Суханов как раз на месте находился и двинулся на подмогу.

Близко подойти к засевшему судну никак не удавалось – было слишком мелко. Спасатель хоть и невелик, но тяжел, мощь имеет большую, ход хороший, в воде сидит глубоко. Подгребли к бедолаге кормю как можно ближе, затихли малость, чтобы отдышаться, понять, что к чему и как судно можно будет на глубоководную воду вывести. Тут надо не семь, а семьдесят раз отмерить, прежде чем взяться за ножницы. Начал оглядываться капитан Суханов и с большим удивлением отметил, что в глубине наволока стоят два ярких, блестящих от свежей краски сборных домика – исследователи морских берегов обосновались, оказывается, на наволоке, поставили жильё, берег обходили, мачту в камни врыли, к ней приладили полосатый длинный чулок, чтоб знать, откуда и куда дует ветер. В общем, возник поселок, который ни на одной карте не был помечен. Суханов поморщился, приказал вахтенному штурману нанести домики на карту.

– Так они ж временные, Ксан Ксаных, – попробовал было возразить лентяй-штурман, – сегодня есть, завтра не будет.

– Спасатель – не торговое судно, штурман. Торговый пароход на полгода в Африканских морях скроется и ему наплевать на береговые изменения, а мы даже ворону, которая из-за собственного растяпства в песке лапами увязла, и ту обязаны на карту наносить. Ясно?

Вахтенный штурман соорудил кислую мину и взялся за карандаш, Суханов кислую мину засек и подумал, что от такого штурмана надо будет освобождаться.

Кинули первую ракету на застрявшее судно. Ракетами они называли линеметы – на бедствующий пароход надо обязательно подать тонкую капроновую бечевку – лить, чтобы за лить зацепить трос и протянуть его к бедолагам, а потом уже тросом выводить их на воду. Ракета прошла между двумя мачтами, стукнулась о камень, оторвалась от линя и с тяжелым пугающим свистом пронеслась над домиками-временками. Оттуда послышался грозный женский крик:

– Вы что из «катюш» садите? Прекратите сейчас же!

Суханов усмехнулся – шутка насчет «катюш» ему понравилась, с таким юмором люди и в тяжелый мороз без теплой одежды не пропадают, и он решил линемет отныне звать «катюшей», – сделал выговор боцману, стоявшему за линеметом.

Въехавший в наволок сухогруз к этому времени уже совсем обсох, вокруг него ходили люди в сапогах, переговаривались – начался сильный отлив, и все спасательные операции, пока отлив не кончится, проводить было бесполезно. Оставалось одно – ждать. Ждать, пока не подойдет вода прилива.

Тут среди плечистых дядьков появилась маленькая ладная женщина в красном плаще, бойкая, голосистая, проворная. Была она зеленоглаза – такие лешачьи ясные глаза может иметь только лесная жительница, и оказалось, точно: Ирина родилась на Валдае, жила среди вековых сосен, ловила рыбу в прозрачной зеленой воде, в Питере окончила институт и получила

назначение сюда, на север, – нос был обметан аккуратными трогательными конопушинами, Суханов даже не подозревал, что такое вот седло из конопушин, надетое природой на нос и беззащитные лешачьи глаза, могут так сильно подействовать на человека.

После того наволока Суханов встретился с Ириной в Мурманске, женился на ней, но счастье было недолгим: Ирина все-таки – земной житель, хотя и имеет прямое отношение к морю. Море в ее душу не вошло, осталось где-то в стороне, любви к соленой воде в ней не было. В общем, ей, земному человеку, нужен был земной муж. Она потребовала, чтобы Суханов переехал работать на берег – тем более, ему лестное предложение сделали – должность капитана порта, вместо старого, умершего, по прозвищу Тигра, но Суханов не мог жить и работать на берегу, где угодно мог – в вонючей луже плавать, в штормовом рассоле тонуть, зубами отгрызать приросшие к донному илу звезды, питаться немymi, без запаха и обычной цветовой нежности кувшинками, но лишь бы это была вода. Пришлось с Ириной разойтись.

– Ох, Суханов, Суханов, что мне делать – не знаю, – Ольга сжалась в комок, губы у нее обметало морщинами, уголки обиженно, как-то по-детски дрогнули, Суханов понял, что на душе у красивой, чуждо чувствующей себя в этом расхристанном шумном кафе Ольги – осень, сырые вязкие туманы приволокли с собою избыток влаги, пролился дождь, краски поблекли – холодная осенняя влага оказалась скорбной и ядовитой.

– Знаешь, что тебе делать, – тихим твердым голосом произнес Суханов, – хорошо знаешь. Одно тебе надо делать, Ольга, – выйти за меня замуж. Выйдешь – вместе мы тихо покатимся в старость. – Он увидел, что Ольга отрицательно качнула головой, предупредил следующее движение. – Все-то ты знаешь, Ольга. Гораздо лучше меня. Ты умная женщина, опасно умная...

– Не могу понять одного, – проговорила Ольга, – то ли я заблудилась на собственной дороге, то ли попала на чужую, но если это чужая дорога, то верно ли я иду по ней.

– Слушай саму себя – и все будет верно. Не отрывайся от реалий, не смотри на шикарных, прибывших из «плаванья налево» моряков, сидящих за соседним столом, и ты поймешь, какое счастье тебя ожидает, – он усмехнулся, – налево я не хожу, только направо! Работай над собой, думай, знай, что благородные мысли рожают благородные поступки, как милосердие рождает ответное милосердие, и так далее. Твори добро, и это добро воздастся тебе.

– Ты прямо библейским проповедником заделался, Суханов. На тебя молиться как на святого нужно.

– Молиться не надо, а вот ставку на меня делать, как на беговую лошадь, можно. Мы с тобой, Ольга, отпили по полному глотку кипятка, поняли, что это крутое варево. Ты была замужем, я был женат, реакция у нас естественная – дуем не только на воду, дуем на шампанское, ножом не только мясо режем, но и рыбу, хотя даже бичи талдычат: «Фи, маркиз, рыбу-то ножом!», а мы в рыбу все равно ножом лезем, мы даже куриные яйца, сваренные всмятку, и те с помощью ножа пытаемся съесть. Образованность свою хотим показать... Все усложняем, усложняем, усложняем! А чего усложнять-то, Ольга? Надо идти по пути упрощения. Все ясно ведь, как Божий день.

– Может быть, ясно, но только не все просто, Суханов.

– Надо держаться, Ольга, и принимать жизнь такую, какова она есть.

– Прописная истина.

– Мир стоит на прописных истинах. Увы, и истины – вечный материал – от употребления тускнеют.

– Легко поучать!

– Я не поучаю, я утешаю. Я прошу, я призываю тебя, Ольга, быть мудрой, великодушной, способной прощать все, кроме подлости. В этом долг женщин.

– В первую очередь мужчин, Суханов.

– Быть женщиной, Ольга, – это призвание: обихаживать дом, стирать белье, готовить мужу обеды, склочничать на кухне, давать детям подзатыльники, проверять уроки, выглядеть

красивой и стараться, чтобы супруг тоже выглядел красивым, был всегда веселым, пахнул табаком, нравился чужим женщинам и умел остроумно излагать мысли.

– То самое, что женщины не прощают мужчинам.

– Все взаимосвязано. Женщине прощается глупость, но не прощается пошлость, мужчине прощается пошлость, но не прощается глупость. Быть мужчиной или быть женщиной – это, Ольга, профессия. Вторая профессия после профессии быть человеком. Третья профессия – уже то, что мы имеем в трудовой книжке.

– Слишком много теории.

К их столику снова приблизилась полная красивая девушка, пощелкала пальцами, глядя на Суханова. Суханов подумал, что она требует сигарету. Оказалось, нет.

– Вы так и не хотите познакомиться с московскими гуманоидами? – спросила девушка.

– Не хочу.

– Жаль, – девушка вторично пощелкала пальцами. – Тогда сигарету, капитан.

Все-таки, выходит, сигарету...

– Пожалуйста! – Суханов сделал резкое движение, и две сигареты стремительно вылетели из пачки. Прежде чем они нырнули обратно, Суханов зажал их пальцами.

– Ловко, – восхитилась девушка, взяла обе сигареты и отошла от столика.

– Кто это? – спросила Ольга заинтересованным голосом.

– Не знаю.

– Довольно примитивная особа.

– Ни тебя, ни меня это не касается. Это – ее личное дело, – сказал Суханов, подумал о том, что эта полная нетрезвая девица смогла, оказывается, зацепить Ольгу – вот что значит пути Господние неисповедимы, а женские – тем более. Покосился на Ольгу, подумал, что правы были древние, когда говорили: лисица, которая не в состоянии дотянуться до винограда, убеждает всех, что виноград этот – кислый и противный, а какой-нибудь полусъедобный барбарис, которого полным-полно и добраться до него ничего не стоит, – сладкий, словно ананасовое варенье, и есть его – одно удовольствие.

Верно: Ольга оглядела шумную молодежную кампанию, сидящую за соседним столиком, задержала взгляд на женихе с невестой.

– А эти вот – хорошие ребята.

– Когда спят, – хмыкнул Суханов, понял, что сказал пошлость, и помотал в воздухе рукой, будто обжегся. – Зачем мы с тобой ссоримся, спорим, воюем, а, Ольга?

– Представления не имею.

– В таких войнах ведь не бывает победителей – только побежденные. И вообще, какая радость ходить покусанным, побитым, исцарапанным? Всякая война укорачивает человеку жизнь.

– Всякая война противна, – сказала Ольга.

Суханову хотелось, чтобы Ольга оттаяла, пришла в себя, сделалась прежней Ольгой, которую он знал. Он понимал и одновременно не понимал, что с нею происходит. И что происходит с ним? Зачем он вылез с этим предложением насчет женитьбы? Перед глазами проползло что-то темное: тень – не тень, а какое-то пороховое облако, клоч большой дымовой завесы, и Суханов с печалью подумал: вот оно, старческое, что всегда нежданно-негаданно приходит, еще немного, и невидимые птички затиликают в ушах, разведут певучую клюкву – прямой показатель того, что подступила старость, а с нею – склероз, одышка, мокроглазие и желание ни в чем, ни в каких делах не участвовать. Лишь только созерцать, отведя себе роль постороннего наблюдателя. Впрочем, довольно капризного наблюдателя, поскольку это часто бывает присуще старым людям.

– Значит, нет, Ольга? – спросил он тихо, мотнул перед глазами рукой, стараясь отогнать пороховое облако, застрявшее перед взором, ни туда облако не хотело двигаться, ни сюда, оно

будто бы остекленело, застыло на одном месте, он знал, какой будет ответ. Короткий, как удар хлыста: нет!

– Значит, нет, Суханов, – сказала Ольга. В следующий миг торопливо добавила: – Но мы остаемся друзьями, Суханов!

– Это, выходит, никем, – сказал он.

– Ты не веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?

– Не верю.

– Напрасно. Самая благородная дружба из всех существующих на свете.

– Такое может придумать только м-м-м... женщина, всю жизнь просидевшая за пальцами и вышившая четыре сотни голубей крестиком, две тысячи цветиков ноликом, строчкой, стежком или... какие еще способы в этом нитяном рукоделье имеются?

– Не будь злым, Суханов.

– Я не злой, мне просто от людей отвернуться хочется. У меня душа угасла, Ольга. Мне в Арктику надо. Давай выпьем за Арктику, раз уж мы за нас с тобою выпить не можем.

– Почему за нас с тобою не можем? Можем.

– Знаешь, как в Арктике тостовали под муху?

– Не знаю.

– Каждый свежий человек, который ехал в Арктику, обязательно вез с собою муху. В пустой коробке из-под спичек – самое удобное жилье. Приезжал на зимовку, там его, естественно, встречали. Спрашивали, чего из живности привез? Как чего? Грустную худую муху. С Большой земли. Пока вез, она все тосковала в своей коробке, воли требовала. Выпустим ее пожужжать? Выпустим. Муха на радостях начинает носиться по помещению, звенит, поет, радуется, о стены стучается, рикошетит, снова звенит. Пока она летает, мужики разливают по стаканам спирт, тихо чокаются и ждут, когда муха устанет, сядет на какую-нибудь занавеску... Ты обратила внимание, Ольга, что мухи всегда любят садиться на занавески? Обязательно пристраивают себя на чем-нибудь мягком... Пока муха сидит, в тиши выпивают спирт. Главное, не спугнуть ее в этот момент. Если спугнут – питье немедленно прекращается, обязательно надо бывает подождать, когда муха кончит жужжать и вновь сядет на что-нибудь мягкое.

– Почему? – не поняла Ольга.

– Иначе неинтересно. Наливают по новой. Для этого муху опять поднимают с мягкого места, слушают, как она жужжит. И поверь, заматеревшему грубому мужику кажется, что жужжанье мухи – голос самой жизни, Большой земли, что ли.

– Ерунда какая-то!

– Не совсем. Я знаю случай, когда человека, убившего муху на зимовке, списали на материк без права работать на Севере.

– Беситесь вы там, мужики, в Арктике у себя...

– Придешь в порт меня провожать? – неожиданно спросил Суханов, постучал пальцами по ножке Ольгиного бокала.

Ольга удивилась, не ответила на вопрос.

– Никто никогда в жизни не провожал меня в порту, – пожаловался Суханов. – Ни одна из женщин. Даже бывшая жена.

– А чайки? Чайки всегда вслед за кораблями из порта идут. Чайки – это женщины.

– Чайки – это птицы.

– Если уж муха для вас, мужики, человекообразное существо, то чайка – тем более.

– Чайке на руду начертано провожать.

– В этот раз тебя будет провожать красная чайка. Тебя ведь красная чайка тоже не провожала?

– Что-то не слышал о такой, – Суханов усмехнулся.

– Ну как же, как же! Один писатель даже целое исследование красным чайкам посвятил.

– Не читал. Должно быть, большой выдумщик тот писатель. У писателя ведь как – всякая книга состоит из трех частей: одна часть угадана, другая слизана из жизни, третья выдумана. Книга этого письменника состоит только из одной части, из третьей. Красных чаек нет.

– Есть, Суханов! Я своими глазами видела.

– Увы, это бред. Я-то Арктику знаю!

– Пospорим?

– Пospорим. Если я докажу, что красных чаек нет – а я это докажу, Ольга, предупреждаю, – голос Суханова сделался тихим, чужим, будто и не Суханов это говорил, – то ты выходишь за меня замуж. Если будешь права ты, то я никогда больше не пристану к тебе с глупым предложением, со сватовством и жалобным куриным квохтаньем. Годится?

– Ты упускаешь из виду еще одно, Суханов!

– Что же?

– А вдруг я уже приняла предложение, сделанное мне другим человеком?

– Цинизм! Ну зачем же бить лежачего? – только и сказал Суханов, на большее его не хватило. Сощурился жестко, горько, Ольга, глядя на него, вдруг улыбнулась. Было сокрыто в этой улыбке что-то обнадеживающее.

Когда они выходили, то в раздевалке снова увидели бича. Тот, видать, не до конца выработался, теперь дотягивал свой репертуар до занавеса. До самой последней реплики, после которой обычно следуют аплодисменты. Бич колотил себя по груди, раздвигал дым руками – в этом маленьком предбаннике, где временно устроили раздевалку, было холодно и все, что имело температуру выше минуса двадцати, источало плотный белесый пар, шкворчало, будто сало на сковороде, и дымилось.

– Я прошу вернуть мне шапку! – бич, оказывается, выдавливал из себя самые натуральные слезы, он был настоящим актером. – У меня была роскошная шапка, ондатровая, сто пятьдесят рублей отвалил, по знакомству взял, а без блата пришлось бы отдать все двести пятьдесят – была и нет ее! Прошу вернуть мне шапку! Либо... либо двести рублей наличными. Сейчас же!

Гардеробщица – худенькая востроглазая женщина с всосанными щеками и обломленными клычками зубов – след тяжелой беременности и неудачных родов – испуганно глядела на бича и мотала головой. Ее била какая-то нехорошая нервная трясучка, на коротеньких жидких ресничках дрожали мутные дождевые капельки. Она ничего не могла сказать в ответ хамоватому бичу, видимо, считала – раз тот говорит, что у него была ондатровая шапка, – значит, была.

– Эй! – сориентировавшись, окликнул бича Суханов.

Бич мгновенно отозвался.

– Чего надо, капитан?

– Поди сюда, – сказал ему Суханов, и бич, готовно наклонив голову и глядя снизу вверх на Суханова, подошел. Суханов пошарил в кармане, достал новенькую хрустящую десятку, зажал ее двумя пальцами и поднял свечкой, будто собирался ее поджечь и устроить небольшой факелок. – Вот тебе еще червонец и отстань, пожалуйста, от бедной женщины, – сказал Суханов. – Ты же видишь, она ни сном ни духом не ведает, где твоя шапка? И какая она была у тебя...

– Стоит ли развращать клошаров деньгами, Суханов? – спросила Ольга.

– А потом ты и сам не помнишь, что носил в последний раз – кепку, шапку или пожарную каску, и если все-таки шапку, то из чего она была состряпана, из кошки или из двух корабельных крыс, – не обращая внимания на Ольгу, продолжал свой диалог с бичом Суханов.

– Червонца мало, капитан, – деловито заявил бич, хлюпнул простудно носом, сложил пальцы в щепоть и пошевелил ими – общепринятый жест, условное обозначение: бич требовал еще денег.

– Значит, считаешь, что этого мало? – недовольно проговорил Суханов. Голос у него сделался сильным, усталым, словно бы он весь день простоял на мостике и пролаялся с командой крейсера страны Бегемотии, отказывающегося уступить дорогу его пароходу, в медную переговорную трубу, у которой не было половины заклепок, и голос, вместо того, чтобы громыхать металлически, досадливо, гложу. – Ну-ну!

– Мало, мало, капитан. – Бич изо всей силы хряснул себя кулаком по груди, в лицо Суханову шибануло пылью. Из распах пальто у бича вылетел клочок грязной тельняшки и шлепнулся на пол. Этот клочок, отрезанный от полосатого подола углом, бич пришил к рубашке, чтобы была видна его морская душа, но не рассчитал удара, и «морская душа» шлепнулась под ноги, на заплыванный грязный пол. Бич покривился лицом – ему было жалко терять «морскую душу».

Входная дверь скрипнула – и в нее вкатился тугой белёсый вал: то ли снег это был – размолотый в пыль обломок соседнего сугроба, словно старый сыр, изъеденного глубокими кротинными норами, то ли остекленевшая морось, принесенная с длинного, как дамский чулок, Кольского залива, в который заходят благотворные теплые воды Гольфстрима, то ли просто уличный пар, лишенный всякой романтичности, воняющий бензином, потом и сырой нечищенной обувью, – не понять. Гардеробщица всхлипнула, прижала слабые детские руки к воронкам высосанных под скулы бледных щек, и это решило все.

– Хорошо, – тихо, отрешенно, будто и не он это говорил, произнес Суханов и в следующий миг стремительно, словно всю жизнь только тем и занимался, что вышибал разный сброд из кафе и ресторанов.

Бич ойкнул задавленно, в себя, отплюнулся, целя попасть Суханову на ботинки, но промахнулся, да и не до того уже было: ноги его стремительно оторвались от пола, словно бич был не бичом, а невесомой мухой, любительницей перемещаться в пространстве, заперевбирал лапами, стремясь найти что-нибудь твердое, надежное, но опоры не было, и он испуганно обмяк в крепких руках. В следующую минуту он, наверное, обмокнулся бы, но не успел – набирая скорость, вынесся в приоткрытую дверь, разваливая неряшливые сырые взболтки, что как шары перекаати-поля, подпрыгивая и жестяно громыхая на ходу, подкатывались со всех сторон к кафе, и чуть не сбил полоротого подростка-петеушника, получившего первый раз в жизни деньги и оттого обалдевшего, переставшего ощущать себя, видеть улицу и людей. Через несколько секунд до Суханова донеслось грузное сухое шварканье – бич въехал в сугроб.

«С благополучным приземлением! – мысленно поздравил Суханов. – Там тебе будет тепло и мягко». Ольга зааплодировала, но глаза ее были грустными – она не одобряла такого молодечества, в уголках ее губ появились скорбные глубокие точки, похожие на уколы спицы, глаза потемнели, приобрели глубину.

– Не слишком ли жестоко? – спросила она у Суханова. – Ты раньше не был таким.

– То раньше, – спокойным тихим голосом произнес он. Ему было что-то не по себе. От того, что сегодня ему попался на глаза бич, что он расправился с ним, обидел, вогнал задом в сугроб, от того, что Ольга отказала ему, от выпитого, хотя он не пил, от крутобокой, дышащей любовью девицы, жаждущей познакомить его с гуманоидами, от сегодняшнего мороза, от завтрашнего выхода в море – от всего того, что произошло, и даже от того, что еще только должно было произойти.

Бич был в порядке и, похоже, трезв, хмель из него вышиб полет в сугроб. Он возился в снегу, кряхтел, бормотал что-то себе под нос.

– Ой, спасибо вам, большое спасибо, – ожила, запричитала гардеробщица, продолжая прижимать костлявые детские кулачки к щекам, из глаз ее полился дождь – слезки были мелкими, частыми, жгучими, лицо от плача исказилось, сморщилось, – спасибо вам большое, дяденька!

Суханов покосился на эту полушкольницу-полупенсионерку, пытаясь определить, сколько же ей лет, – что-то в гардеробщице было и старушечье, и девчоночье одновременно,

она была робка и стеснительна, какими приезжают в города жители глухих комариных деревень, и вместе с тем была, что называется, себе на уме, – хмыкнул: ну уж и дяденька. В двери появилась Неля, быстро оценила ситуацию:

– Правильно поступили, Александр Александрович! Это вам в конце жизни при подбитии итогов зачтется, как доброе дело.

– Попросите, Неля, небесную канцелярию, чтобы не забыли занести в кондуит.

– Счастливого плавания, Александр Александрович! И столько футов под килем, сколько хотите.

Суханов поправил ллойдовскую фуражку на голове.

– Знаете, что такое фут, Неля?

– Сколько-то там сантиметров, не помню... А что?

– Фут – это расстояние от кончика носа до конца указательного пальца английского короля Генриха Девятого – большого оригинала и любителя пива.

– Интересно, интересно. Это из области морских баек, да?

– Нет, это из моих собственных сведений. А по энциклопедии фут – это длина человеческой стопы.

– Александр Александрович, говорят, что человек, солгавший один раз в жизни, обязательно солжет и в другой. Кто это сказал, не помните?

– За кого вы меня принимаете, Неля? Посмотрите на мое честное открытое лицо. – Суханов грустно усмехнулся, поглядел на Ольгу, та взяла Суханова под руку – защитное движение человека, который стремится сберечь другого человека, а в себе – непо потревоженную тишь. Хотя часто эта тишь оказывается мнимой, придуманной – и не происходит ли подобное сейчас с Ольгой? Впрочем, может, и происходит, – Суханов сглотнул что-то горькое, резиновое, скопившееся во рту, зябко передернул плечами, подумал о том, что он может, в конце концов, поменяться местами с бичом, что сейчас пыжится, кряхтит, выкачивает себя из сугроба. У бича никаких забот, кроме как пожрать и выпить, и эта скудность желаний вызывает какую-то ущербную зависть: а почему бы, в конце концов, не сбросить с себя все заботы, не ограничиться минимумом?

Он отрицательно качнул головой: нет. Ольга еще теснее прижалась к Суханову, и это движение вызвало в нем приступ острой секущей тоски, он, сощурился глазами, шагнул к выходу, за дверью остановился, поднял голову, посмотрел вверх, в перистое, исчерканное белесым пухом невысокое небо, будто надеялся там найти что-то очень близкое, родное, принадлежащее только ему одному. Но что близкого и родного может найти в холодном далеком мареве непонятого переливчатого тона человек? Земным подавай земное – и нет им дела до разных небесных страстей. Он получил сейчас щелчок по носу, и нет бы ему улыбнуться, отойти в сторону, уступить место другому. А он? Что за пошлые думы роятся в голове? Это ведь все злое, чуждое, никак не присущее ему! И все-таки зачем он цепляется, будто утопающий, за обрывок бумажной бечевки, в которой крепости меньше, чем в пресловутой соломинке, тянет голову вверх, хватая ртом воздух, дышит и никак не может надышаться. Душно ему. Что-то хваткое, жесткое стискивает грудь, чужая рука пытается нащупать сердце и причиняет беспокойство.

Далекий, но очень отчетливый и остро ощущающийся страх возникает в нем, движется, подчиняя себе не только мозг, а и тело, мускулы – всего Суханова. И некуда от этого страха скрыться. Что происходит с ним, что?

Говорят, что если сощуриться по сильнее, то в дневном небе можно различить звездочки, крохотные, блеклые, выстуженные долгой лютой зимой. Впрочем, что зима! Суханов относится к ней вон как: носит фуражку-ллойдовку и легкие, с тоненькой подошвой, сквозь которую чувствуется снег, туфли-мокасины. Все это пижонство, красивое лихачество, грозящее простудой. Либо, в крайнем случае, замелькает в глазах какое-нибудь верткое черное пшено, и все. И

никаких тебе романтических выстуженных звезд – мелких грустных осколков чьей-то разбитой радости.

Бич тем временем выкачался из сугроба, выплюнул изо рта мерзлое жеваное крошево, высморкался громко, лихо, потом сунул руку за пазуху, достал оттуда старую мятую кроличью шапку с мягкими вытертыми ушами и нахлобучил себе на голову. Суханов нащупал в кармане десятку, кинул ее бичу.

– Плата за мелкое неудобство, – сказал он тихо, только для одного бича, эту фразу даже Ольга не услышала. – Встань со снега, дурак! Простудишься! – поморщился недобро, встряхнул плечами, будто бы сам, а не бич, сидел на снегу.

Подумал о том, что совершил ошибку, пытаясь искать самого себя в женщине, в повседневных предметах, в отношении к этому бичу, в сравнении с ним: а как бы он поступил, находясь на его месте? Надо бы искать себя в самом себе и не виниться в том, что руки кривые, ботинки на ногах очень тесные, а на кухне перегорел утюг. Как не винить соседа, капитана парохода, директора универмага, жэковского электрика. Во всем худом, что происходит с человеком, виноват сам человек.

– Вот и шапка нашлась! – весело проговорила Ольга, глядя на бича.

Что шапка? Ох, если бы наши находки были равными нашим потерям. И не стоит ставить себя на место школяра, которому дозволено все, – он может и приударить за своей одноклассницей, и влюбиться в учительницу, и признаться в нежности к пионервожатой – для него все сойдет, все прощительно. А для Суханова? Каждому свое: одним – сухое жаркое лето, розовые зори и тихая благодность вечеров, другим – мозготная холодная осень, дожди, пузырящиеся лужи, ревматическая ломота в ногах. Никакое ожидание чуда не спасает. У школяра ведь как? У него все обычно – как, собственно, у всякого обычного человека: кончается детство – начинается любовь, кончается любовь – начинается привязанность, кончается привязанность – что начинается? Скорее всего, неверность. Счастлив тот, кто ничего не знает о неверности близкого человека. Впрочем, какое уж это счастье – быть слепым?

Что-то затянулся у него нынешний день.

– Помни о красной чайке! – сказала Ольга.

– Помню. Моя игра – беспроигрышная. – Суханов хлопнул ладонью о ладонь, удар был громким, будто выстрел из дуэльного пистолета, из которого Суханов пробовал как-то пальнуть по пролетающей вороне. Пистолет, купленный им за триста рублей в комиссионке, стрелял исправно, но ствол у него был кривым, смотрел в сторону, мушка скособошена, и стрелять из него, наверное, лучше всего было рублеными гвоздями, но никак не прокатанными вручную свинцовыми пулями. Хотя, что гвозди, что пули, результат все равно один – мимо. – Красных чаек нет. Ни один мореход, плавающий в Арктике, не видел их. Нет таких чаек. – Голос у Суханова был тихим и, как показалось Ольге, рассеянным, она напряглась, чтобы услышать конец фразы, но конца фразы не последовало – Суханов замолчал.

Суханов был не в своей тарелке, и в этом была виновата она, на какое-то мгновение ей сделалось жаль его, но она изгнала из себя это чувство, будто рукой прихлопнула, – и Ольга и Суханов одинаково плохо относились к жалости. Ей понятно было состояние Суханова, так же как понятно и другое – никакая помощь ему сейчас не нужна, никакая и ничья, кто бы ее ни предлагал. В том числе и помощь Ольги.

– Любой твой проигрыш, Ольга, – это выигрыш, – проговорил Суханов, не обращая к Ольге, от этого у нее в груди сделалось тесно и холодно, словно бы в легких застрял морозный плотный воздух. Ольга качнула головой несогласно и начала думать о Вадиме.

Думала о Вадиме, а рядом с нею шагал Суханов.

Отходили в пятнадцать ноль-ноль. Без четверти три на борт атомохода поднялся лоцман Казаков, крутоскулый, с висячими, остриженными на монгольский лад обесцвеченно-рыжеватыми усами, легкий в движениях. Казаков появился на капитанском мостике, и через минуту

заскрипели-заскрежетали якорные цепи, судно трянуло, со всех сторон зацокали каблучки: жены торопливо прощались с мужьями, ссыпались на парадный трап, прозвучала команда «Боцмана на бак!» Эта команда означала, что судно собирается отходить.

По соседству с атомоходом стоял «Капитан Сорокин» – дизельный ледокол, имеющий самую высокую надстройку в Арктике, этакий небоскреб, поставленный на плавучую платформу. Некоторые шутники этот небоскреб звали недоскребом, но сорокинцы на выпады не обращали внимания. Они говорили, что могут плюнуть в трубу любому пароходу – и верно, черт возьми: антенны у них щекочат пузо у неба, выдирают из облаков лохматые неряшливые ключья, схожие с кусками грязной ваты. За «Капитаном Сорокиным» рыжела яркими новенькими бортами «морковка» – финское судно, выкрашенное в красный цвет. «Кандалакша». Самый лучший цвет в Арктике – брусничный, он бьет в глаза в непроглядной северной мути, в белизне и серости пространства просматривается издалека.

К «морковке» тоже прилаживались два буксира-крохотули. Притерлись бортами к высокому мощному боку, затихли в ожидании. Первым надлежало выходить атомному ледоколу, «морковке» во вторую очередь.

С утра над заливом повис туман, густой, едкий, отрезал от воды большой и шумный город: откуда-то сверху, из вязкой плотной ваты доносились задавленные глухие звуки – гудели автомобили, скрежетал железным чревом работяга-кран, достающий своим длинным хоботом грузы из глубоких мрачных трюмов, перекадывал их в вагоны, урчал голодно, громыхал железными колесами по рельсам, сипло свистел, требуя, чтобы подвинули железнодорожный состав, и, отзываясь на этот простуженный свист, подавал голос маленький, схожий с черепашкой тепловозик, толкал вагоны. Суханов хоть и не видел всего этого, а знал, что тепловозик похож на черепашку, а кран – на злого длинношеего гуся, что они имеют такие же ранимые чувствительные души, как и живые существа. Самого города, как и порта, не было видно.

Когда в заливе туман – все выходы-приходы отменяются, залив узкий, морось плотная, в ней даже в собственных брюках запутаться можно, не то что в пароходах, которые надо разводить в разные стороны: отход был объявлен в девять ноль-ноль, но пришлось перенести на пятнадцать – зажал туман.

Старпомов на атомном ледоколе – три, не как на обычном судне, там по роли положен один – один и плавает, а на атомном у каждого старпома – своя вахта, вторым помощникам, дабы не случилось что-нибудь нехорошее, вахту не доверяют. Многие старпомы, плавающие на атомных ледоколах, уже побывали в роли капитанов, как, собственно, и Суханов, но потом сменили «четыре мостика» – четыре золотых нашивки, отличительный знак власти и единоначалия на пароходе, – на три, положенные старшему помощнику: атомоход есть атомоход. Недаром в институтах, когда читают лекции, говорят, что суда с атомными установками – это суда будущего. Штамп, конечно, насчет судов будущего, но против истины, как говорится, не попрешь. Отход выпадал на долю Суханова, он нес вахту с двенадцати до четырех дня.

В час дня туман приподнялся над заливом, смешался с облаками и унесся куда-то в сторону, обмокнув крыши частных домов поселка Минькино, куда любили наведываться моряки, содрал снеговое крошево с лобастых минькинских бугров и исчез.

В воде плавали ледяные блины, круглые, как лепешки, ноздреватые, без острых углов и застругов, действительно похожие на только что снятые со сковородки блины. Этот лед так и зовется – блинчатый.

Хотя и капитан находится в рубке, и вахтенный старпом со своей командой, и приборы все начеку, все горит, мигает, щелкает, светится – выход из залива положен только с лоцманом. Таково правило, и исключений из него нет, даже если пароход из залива будет выводить сам морской министр.

Суханов в последний раз посмотрел вниз, на причал: а вдруг придет Ольга? Тревожная щемящая боль сдавила ему виски, перед глазами забежали какие-то прозрачные козявки, он

затянулся воздухом, остужая самого себя, – знал, что Ольга не должна сюда прийти, не может, в конце концов, прийти, у нее не заказан пропуск, это порт, а не ларек, где торгуют спичками, сюда всякприходящего не пускают, и все-таки ждал. Он знал, что если Ольга захочет что-то сделать – обязательно сделает. Город перевернет, снега на минькинских сопках растопит, тамошних куркулей лишат собственности, а сделает – своего она умеет добиваться.

Но Ольга не пришла.

Может быть, и к лучшему, что не пришла. Когда задуманное не получается, подвисает в воздухе, принося боль и муку, это задуманное надо вытравлять из себя с корнем, уничтожать все внешние приметы его, даже самые мелкие, косвенные, далекие, – только тогда можно уничтожить суматоху в собственной душе и навести порядок. Конечно, прием этот безжалостный, с кровью, но иного просто не дано.

Да, точно к лучшему, что Ольга не пришла. На сером, припорошенном угольной крошкой и отгаром дыма причале, среди черных, гибко расходящихся в стороны железнодорожных путей стояли человек тридцать одиноких женщин – каждая сама по себе – и прощально махали руками. Кому конкретно махали – не разобрать. Экипаж большой, много командированных набито в каютах: каждое плавание атомохода – это ведь еще и исследование, наука. «Наука» – в основном молодые горластые ребята, для которых высшей поэзией являются сложные многоэтажные формулы, что они читают запоем, как хорошие стихи; иногда, правда, попадаются почтенные старцы с гордой, как у богов, посадкой головы и легким белесым пухом над темнем, но это редко.

Под носом мелькают в стремительном бесшумном полете серые чайки. Чем-то они напоминают обычных городских голубей – чайки, так же как и голуби, ничем не брезгуют, питаются летают на городские помойки, сварливы и жадны, крикливы, своего не упустят, равнодушно относятся к своим товаркам и презрительно к человеку, от голубей отличаются лишь длинными узкими крыльями, способностью подхватывать любое, даже самое слабое движение воздуха и парить. Вода тоже серая, недобрая, видны качающиеся в воде кляксы – зимующие утки. Как только они зады себе в эту студию не отморозят – никому неведомо. Утки – существа более веселые, чем чайки, более дружелюбные, менее озабоченные, глаз радуют. Правда, лупят их почем зря. В основном мальчишки. Наловчились стрелять из рогаток, могут даже на лету сшибить крякву, словно из ружья, та только заорет задавленно и камнем шлепается вниз. Хотя над водой пацанье уток бьет редко – плюхнется крякву в какой-нибудь мазутный отстой, её все равно не достанешь, а коли достанешь – есть не будешь.

Кряквы хитрые, они не хуже пацанья научились ориентироваться и стараются держаться подле судов, под защитой железных бортов.

На мостик поднялся капитан Донцов – высокий, седой, гибкий, словно наездник, демонстрирующий в цирке джигитовку, с пронзительно-светлыми, будто бы позаимствованными на иконе глазами. Мастер. Капитанов на судах зовут мастерами. Старших помощников – чифами, первых помощников – помпами, старших механиков – дедами, вахтенных механиков – внуками, начальников раций – маркони, вторых помощников – ревизорами, у каждого свое обозначение, свой позывной. На Севере народ работает языкастый, тут на практике проверено, что юмор удлиняет «венцу природы» жизнь, поэтому дело с позывными поставлено на широкую ногу, кличку приладить – пустяковое дело. Но «Мастер» из всех позывных – самое уважительное.

Капитан без лоцмана не может в море выйти, а лоцман без капитана. Хоть и находится в ходовой рубке Казаков, перед ним уже стоит подносик со стаканом крепкого чая, горкой печенья, сыром и тоненько нарезанными скибками колбасы-салями, и вроде бы начал он отходом командовать, сыплет приказами налево-направо, а отвечает за отход капитан. Если лоцман своротит скулу какому-нибудь пароходу, снесет тяжелую швартовую бочку, подле которых

иногда останавливаются суда, цепляются, чтобы перевести дыхание, либо переждать снеговой заряд, или залезет на какой-нибудь плоский наволок, то виноват будет не лоцман, а мастер.

Донцов, несмотря на свой секущий, пробивающий чуть ли не насквозь взгляд, был человеком спокойным, немногословным, интеллигентным – поклонялся искусству, любил книги.

У него в каюте разве что только рояля не было. А так – книги, томов двести, живопись на стенах развешена – несколько добротных этюдов, в основном пейзажи, и театральные плакаты.

Снялись.

Пошли.

Когда мимо поплыли лобастые заснеженные сопки, с макушек голые, а сбоку в редкой хвойной растительности, напоминающие плохо выбритые щеки неряшливого толстяка, печальное тепло возникло в горле, вызвало тоску – всегда так бывает: сидя на берегу, мечтаешь о море, о том желанном моменте, когда заскрипит соленая якорная цепь, будет отдан последний конец, и землю начнет понемногу вытеснять вода, а в море, глядя на тоненькую прерывистую строчку удаляющегося берега, обязательно думаешь о земле и тоскуешь по ней. Словно бы чувствуешь, что рядом ходит беда, заглядывает тебе в глаза, пристально рассматривает лицо, словно бы старается запомнить. И больно делается от этого ощущения, что-то гулкое начинает колотиться в висках, под ложечкой режет от странного страшноватого осознания того, что беда видит тебя, а ты ее нет.

Почему-то в момент отхода удаляются все звуки, они словно бы растворяются в воздухе – только что были и уже их нет. Ни писка морзянки, ни одышливого простуженного сипения радиотелефонов, ни вкрадчивого скрипа пишущих устройств, таинственного могильного треска круглых стеклянных экранов радарных установок, ни звонкого голоса улыбчивого лоцмана, отдающего команды, ни далекого бормотанья мощных двигателей, сотрясающих корпус судна от киля до клотика – от приглубой нижней линии, разваливающей водную сердцевину пополам до самой верхней точки – мачтовой макушки, все это истаивает, исчезает, остается одна печальная, наводящая на думы тишь, этакий бесшумный «золотой дождь», но не тот, что приносит неожиданное богатство, а другой, заставляющий мыслить, тосковать, сжиматься в комок, удерживая сердце в груди, которое колотится обреченно, раненно, норовя оборваться и навсегда затихнуть. Да что сердце!

Тишь стоит безмерная, влажная, тусклая, и безмолвно отступают назад щетинистые небритые берега, спичечная редина тощих лесков, гнездящихся в распадках, стаи уток, оценивающе поглядывающих на проходящие суда: а не выкинут ли оттуда чего-нибудь съестного? Рябые пухлотелые гаги даже не поднимаются с воды, когда пароход накатывает на них, лишь отталкиваются от ряби и ловко лавируют среди круглых белесовато-темных, словно бы отлитых из пластмассы блинов, отплывают в сторону, потом долго равнодушно покачиваются на длинных усах-волнах, оставляемых судном. Чирки, те – пошустрее, подружелюбнее.

Для того чтобы ощутить настоящую, пробивающую буквально насквозь слезную тоску по берегу, этот берег надо обязательно как-нибудь покинуть, уплыть в лодке далеко в море, там, в безбрежной пустоте, опустить весла, застыть в волнах и задать самому себе вопрос: а что значит для тебя земля? Если ответ будет найден сразу – значит, ничего ты, человек, не понял, такие ответы не лежат на поверхности. Чтобы ответить на этот вопрос, надо немало помучиться, изойти потом, накричаться вволю в одиночестве, перегореть. Чтобы судить о земле, надо знать, чем она дышит, на чем стоит, знать ее беды и счастье, мысли, волнения, заботы, ощутить себя частью ее самой. А ведь это так и есть – все мы рождены землей, все мы в нее и уйдем. И хорошо бывает жить с сердцем, в котором имеется ощущение этой земли, тверди, отцовской могилы и дома, в котором человек был рожден, – это ощущение помогает выстаивать, не заноситься, когда вдруг чей-то указующий перст поднимает высоко-высоко, всякую минуту помнить, что чем выше ты заберешься, тем больше бывает падать, помогает всегда и всюду оставаться самим собой. Тот, кто забывает о своей земле, – очень быстро обваривается, слепнет.

– Ну что, моряки, кажется, отчалили? – наконец подал голос Донцов, хотя отчалили бог знает когда – атомоход уже проходил док, в котором ремонтировался старый заслуженный ледокол «Красин».

– Так точно, отчалили, Николай Иванович, – излишне вежливо, всплывая на поверхность самого себя, ответил Суханов.

– Якоря как, моряки?

– Сушатся оба.

Донцов сунул в рот холодную трубку, помял ее желтыми крепкими зубами, потом набил душистым «кепстеном», который Донцову привозили друзья-капитаны из «плаваний налево», но раскуривать не стал, сощурил свои неземные яростные глаза, что по праву должны были бы достаться человеку, способному сжечь себя в печи, но никак не спокойному тихому Донцову, взгляделся в плоское полупрозрачное облачко, опустившееся на воду впереди. Пожевал задумчиво трубку, молвил будто бы для самого себя:

– Заряд идет, моряки.

Раз идет заряд – значит, пароход залепит снегом, извозюкает, вся праздничность будет скомкана, тоска, начавшая уже свертываться под сердцем в клубок, будто капризный котенок, вновь распрямит спину, вытянет когтистые лапы и начнет царапаться. Донцов втянул в себя ароматный дух табака, выпустил его сквозь ноздри, словно дым, – у капитана были свои думы, свои заботы. Как и свои женщины: одних он вспоминал с нежностью и сладким щемлением, других – словно нечто пригрезившееся, вызывающее невольное удивление, что-то странное, легкое, схожее с неожиданной печалью, либо с раздражением и ломотой в висках, капитану все земное не было чуждо. Худое красивое лицо его вытянулось, загорелые щеки обвяли.

Посмотрел в сторону, на док, в котором ремонтировался знаменитый старикан «Красин», славно поработавший когда-то при спасении челюскинцев. Трубу старику подновили, сделали яркой, в три широких полосы, выпуклый, словно бы вырезанный штихелем скульптора корпус покрасили в черный траурный цвет, будто собрались провожать в последний поход. Но до последнего похода старику было далеко – жить да жить ледоколу: две зимовки он провел у геологов на ЗеФеИ – земле Франца-Иосифа, где служил людям, как самое банальное общежитие. Каюты на «Красине» просторные, с высокими потолками, обшитые деревом, украшенные бронзой, уютные – не каюты, а настоящие хоромы, ни один мороз такое жилье не берет, в бывшей молельне геологи устроили баню-сухопарку, ввели «чистые» дни.

Ходовая часть на «Красине» исправная, рубка в порядке, управление работало, из машин оставили только одну, все остальное, насколько было известно Суханову, вытащили, фундамент залили цементом, чтобы не было течи, но и одной машины старику достаточно – дотелепает до ЗеФеИ, а там снова приткнется к берегу. А вот родное имя у старика, можно сказать, отняли, отдали новому ледоколу, мощному, современному, но потом кто-то одумался – нельзя же все-таки обижать музейный экспонат, у которого мировая слава, и еще неизвестно, как будет работать новый ледокол со старым именем, поэтому дедушке в паспорте прописали: «Леонид Красин». Хотя чем отличается «Леонид Красин» от «Леонида Борисовича Красина» или просто «Красина» – никому не известно. Впрочем, для береговой бухгалтерии различие, наверное, все-таки существует.

У каждого берегового мыска, обломка, одинокого надолба, что нелепой пушкой с заткнутым глухим стволом смотрит в низкое беспокойное небо, своя память. И у маленькой плоской нашлепки, покрытой ноздреватым серым снегом, именуемой Брандвахтой, – здесь раньше стояли молчаливые парусные суда, обороняли вход в Кольский чулок, и у маяка Мишукова, носящего имя царского лейтенанта, и у мыса Шавор. Каждый пятак здешней земли, каждую плоску надо унести с собою и помнить о них, где бы моряк ни находился.

Чем дальше от мурманского ковша, от причалов, от рейда, где толпятся суда разных марок и национальностей – датчане, немцы, норвеги, болгары, либерийцы, чехи, которые, как

известно, своего моря не имеют, но имеют флот, и довольно неплохой, тут «морковки» и «фантомасы» – двухтюрмные суда особой постройки, есть и «полтора фантомаса» – те же суда, только трехтюрмные; пароходы типа «полководец» и типа «пионер» – стремительные, неведомо сидящие в воде, сильные, с узким длинным корпусом – суда, которые хорошо плавают во льдах, типа «Амгуэма», и приземистые, зачумленные, обвешанные по периметру мятыми истертыми кранцами – старыми автомобильными крышками, буксиры, – тем все больше и больше отступает тоска, становится легче дышать, уменьшается притяжение берега, хотя сколько мы ни хороним прошлое, землю, места, в которых бывали и в которые никогда уже не вернемся, – все это нам никогда не похоронить. И вообще, несчастлив тот человек, который станет пытаться это сделать.

Самая маленькая, самая ничтожная попытка, и та не будет прощена, обязательно отзовется – даже если пройдут годы. Отзовется щемящей ревматической болью в сердце, стиснутостью движений, режью в груди, ойканьем, а порою и криком, который, чтобы не выплеснулся наружу, надо зажимать зубами.

А Суханов продолжал думать об Ольге. Раньше он не помышлял о том, что ему надо обязательно кого-то найти: была Ирина и ушла, и бог с ней, но человек не для того создан, чтобы жить бобылем, одиноким грибом – рядом обязательно должна стоять красивая умная женщина, насмешливая, со своей тайной, которую он даже не будет пытаться разгадать, со своим миром и интересами, вызывающими невольное уважение, – и все-таки до нынешнего, последнего прихода на берег он не думал о том, какая это будет женщина.

А в этот раз неожиданно отчетливо, ясно, даже как-то безжалостно ясно, с болью и острым внутренним беспокойством понял, что дальше он не может жить один – рядом с ним обязательно должна находиться женщина. Неважно, что он будет месяцами болтаться в море, а она жить на берегу – она все равно будет рядом с ним, он будет думать о ней, стоя на вахте либо выбираясь с ружьем на охоту где-нибудь на пустынном промороженном мысу, где даже летом снег бывает плотно набит и оторочен рисунчатой коркой льда; солнцу не хватает силенок на то, чтобы эту корку растопить, максимум, что светило может сделать – проесть в голубой промерзлой плоти несколько глубоких сусличьих нор, или распивая чай в каюте начальника рации Леша Медведева... Но чем дальше он будет жить один, тем больше станет съедать его одиночество, походы в море, ночные бдения во льдах. Его засосет и съест работа, он сгорит от тоски и боли.

Потому он и брякнул Ольге, чтобы та выходила за него замуж! Предложение вроде бы необдуманное, бросовое, скоротечное, ничем не подкрепленное – ну кто он для нее? А она для него? Случайные люди, которые встретились, покрасовались друг перед другом, выпили шампанского со льдом и разбрелись в разные стороны, не обременив друг друга ничем. И вместе с тем это был продуманный шаг, решение, что давно уже назрело, оно вспухало, росло, оно должно было в один момент обязательно прорваться. Но он не рассчитал одного – того, что Ольга не окажется готовой сделать ответный шаг.

В результате все полетело прахом. На душе пусто, тоскливо, льет дождь, Донцов уже несколько раз бросал на него косые, испытующие взгляды, мастер словно бы хотел проверить: а не перебрал ли вчера чиф в какой-нибудь мурманской таверне? Нет, не перебрал. Просто на душе паскудно, сыро, а это тяжелее, чем самое скверное похмелье. Раньше Донцов не чувствовал так остро и болезненно своего возраста, но, видать, произошло накопление, что-то в нем сместилось и он стал качественно иным человеком.

Понимал Суханов, что старость наваливается обвалью, словно лавина в горах, все происходит постепенно, зреет неприметно, скапливаясь по малым крохам, исподволь, появляются некие черты характера, присущие только людям зрелых лет, даже чудачества, если хотите, хвори и возрастные изъязны, такие, как вздувшиеся вены на ногах – вы думаете, это от простуды, от беспрестанного стояния в ходовой рубке? Нет, ерунда все это! Есть у печального дви-

жения вперед свои столбовые вехи, свои законы, переступить которые не могли – обязательно надо поставить вешку, отметитья, – и наконец наступает грустный момент, когда человеку уже нельзя бывает играть в молодость.

Суханов правильно поступил, вогнав в землю очередную вешку и сделав предложение Ольге, а она правильно поступила, отказав ему. У каждого – своя судьба, своя жизнь, своя дорога; объединить две тропки в одну не каждому удастся. Нужна удача, нужна доброта, нужна вера друг в друга, и не надо терзать себя, маяться, сжигать все, что было, на медленном огне. Подобные попытки тоже принадлежат к разряду старческих чудачеств. Он сглотнул теплый вязкий комок, собравшийся в горле, покривился лицом, забыв, что на него бросает оценивающие взгляды Донцов.

Донцов приблизился к Суханову, – похоже, он хотел что-то спросить. Суханов, предупреждая вопрос, сунул руку в карман пиджака и со стремительностью человека, почувствовавшего опасность, вытащил ладную изящную зажигалку с перламутровыми щечками. Щелкнул. Над узким тонехоньким горлышком зажигалки взвилось тонкое невидимое пламя.

– Прошу вас, Николай Иванович! – сказал Суханов.

Помяв трубку зубами, капитан потянулся было к огню, но потом сделал отсекающее движение рукой, сощурился холодно и отвернувшись, начал всматриваться в лобовое стекло рубки. Суханов сделал то, что хотел сделать – перевел внимание капитана на другое, выставил загородку и спрятался в ее тень, проще говоря, обвел Донцова, как на футбольном поле, тот, поняв игру, насутился, постоял немного молча и ушел в рубку к радистам, где ребята опробывали только что полученный видеоманитофон и в четвертый раз крутили крикливого, уже набившего оскомину «Чебурашку».

Что может сделать Суханов, чтобы тоска прошла, не давила камнем на грудь, не превращала серые застойные краски дня (ах, какой дивный день был вчера, вспомнил он, с чистыми нежными тонами, с солнцем и голубым морозным снегом – кустодиевская звонкая тишь) в сплошную пороховую чернь, в недобрый холст. Прежде всего не думать об Ольге, не совать обожженную руку в горячую воду, ему и без этой боли больно, сбросить с себя все возрастное, причиняющее неудобство, перестать комплексовать. Хватит кромсать себя по живому! Он приказывал себе это, но никак не мог подчиниться приказу, где-то в глубине все равно теплился костерок несогласия.

Каждый из нас, находясь в проигрыше, рассчитывает на реванш, на то, что уж коли не повезло в большом, так повезет в малом, и молит неведомые силы, впрочем, не такие уж и неведомые, чтобы хоть в этом-то малом повезло, чтобы хоть тут-то не отвернулась удача... Но силы те часто бывают немые, не отзываются, будто и нет их вовсе.

Давным-давно, когда Суханов был еще неоперившимся юнцом, только что окончившим мореходное училище, он работал со знаменитым полярным капитаном, которого на севере каждый белёк – тюлений детеныш – знал и каждый моржонок знал. Старый полярный капитан был строгим хранителем северной живности, намертво схватывался с ледоколами, когда те заползали на тюленьи лежки и утюжили, давили мамаш, приготовившихся давать потомство. Тюлени ведь что – хоть они и бессловесные и вроде бы неразумные существа, а океан знает так, как не знают те, кто тут плавает, и по весне, по солнышку, по первым теплым дням собираются на свои лежбища, стонут, кряхтят от боли и неги, ловят черными мокрыми глазами солнышко, купаются в промоинах и отогревают себя в застругах, куда недостает промозглый разбитной ветер. Тогда-то на лежбищах и появляются бельки – крохотные доверчивые тюленята размером не больше рукавицы, вызывающие ощущение нежности и тепла, – они беспомощны и кротки.

И вот какое совпадение – тюлени ищут для лежбищ льды, в которых много промоин, и ледоколы тоже ищут те же самые поля, потому что лед там самый слабый, можно без особой опаски проводить караваны. Случается, что ледоколы наползают на лежбища. Что там творится – крик в глотке застревает, капитаны поворачивают свои пароходы вспять, но во льдах

не очень-то повернешь, суда застревают, мнут себе борта и теряют груз. А ледакол, он иногда вообще не может остановиться – сзади его подпирают суда, идущие впритык, поэтому он наваливается тяжелым телом на лед, плющит вместе с тюленями, кромсает, из-под винтов выхлестывает красная яркая вода, что и не вода-то вовсе – живая кровь. Беременные тюленихи, беспомощные, грузные, пытаются уйти от грохочущего металла, но куда там – они после родов еле-еле могут ползать, раздирают в лохмотья ласты о лед, тащатся к темной тяжелой воде, оставляя после себя алые сверкающие следы, выкидывая на ходу детенышей, но так и не доползают до воды – ледаколы опережают их.

Знаменитый полярный капитан, когда узнавал о подобном, бил виновника, прихватывая его один на один, от сочувствия к природе пил водку, и если не удавалось прижучить где-нибудь в темном углу нашкодившего капитана, то подавал заявление в суд. Это был мощный старик с крупной лошадиной головой, тяжелой шаркающей поступью и костлявой, с выпирающими буграми лопаток, позвонков, каких-то других никому неведомых сочленений, спиной. Костей полярному капитану природа отпустила в два раза больше, чем положено.

Заглядывая в грядущее, непросто будет сжиться с одним фактом: через несколько лет костяного капитана освободят от работы за то, что он разрешит наловить в заповедном озере для полуголодной, истосковавшейся по свежей пище команды мешок сигов. С ним сведет счеты один из обиженных, добравшихся до высот власти и вроде бы напрочь забывший о том, что было, но совсем того не забывший.

До этой жизненной вешки в ту далекую пору надо было еще тянуть и тянуть, знаменитый капитан был в самой что ни есть силе: угрюмый, с маленькими колючими глазами, неряшливо прикрытыми сверху двумя черными густыми кочками бровей, с дорогой сандаловой клюкой, искусно украшенной серебром и перламутровыми плошечками, в затертом до лакового блеска черном старом пиджаке старик производил впечатление. Суханов тогда только начал служить, был «старшим заместителем младшего помощника капитана», и максимум того, что ему доверяли на пароходе, так это подержаться за один из твердых гладких торчков штурвала, и то если рядом будет стоять надежный рулевой, еще потрогать перо руля на запасной шлюпке и понюхать, чем пахнет «шило» – неразведанный спирт, которым начальник рации, а по-старому заврадио, промывал детали передатчиков. Ну и естественно, ходил с открытым настежь ртом, даже не думая, что кто-нибудь перепутает его распахнутый рот с пепельницей и сунет туда окурок, восхищался всем, не сводил глаз со своего знаменитого мастера и, словно тень, следовал за ним по пятам.

В Архангельске сердитого полярного волка пригласили выступить на одном из больших рыболовецких траулеров: рыбакам интересно было посмотреть на знаменитого старика, узнать, чем пахнет Арктика, выведать, можно ли из льда сварить суп, и верно ли, что большому кораблю нужен большой айсберг? Старик взял на выступление свою бессловесную тень – Суханова. И так уже получилось, что яркий отблеск славы мастера упал и на младенца – к Суханову прикрепили такого же, как и он, юнца, недавно только вылупившегося, с дипломом об окончании мореходки – третьего или четвертого штурмана.

Полярного волка принимали по высшему разряду. Как адмирала. Была подана традиционная уха. Рыбаки расстарались – на то они и были рыбаки. Суханов раньше никогда такой ухи не пробовал, ни до, ни после. Хотя потом ему довелось несколько раз есть знаменитую «уху по балкам», но все равно эта уха была слабее и жиже той.

Полоротый коллега с траулера провел Суханова по всем цехам и подсобкам, затащил в темный, дурно пахнущий столетней солью и тленом трюм, дал пощупать, помять пальцами трал, а потом привел на камбуз, где как раз священнодействовал кок. Он с помощником готовил уху.

В медном, хорошо вычищенном чане они вскипятили воду, насыпали туда крупной черной соли, из которой готовится тузлук и с коей не сравнится никакая другая соль, мелкомоло-

тая и хваленая, – черная, неприглядная на вид рыбацкая соль все равно будет лучше, потом кинули пригоршню лаврового листа, добавили несколько трехлапых гвоздичек, десятка четыре темных ноздреватых горошин перца, сухого укропа и стали варить бульон. Но уха из одних приправ не состоит, и вскоре поваренок – маленькая молчаливая девчушка с заспанными глазами – приволокла в сетке три здоровенных толстоспинных трески с выпученными от натуги глазами и раскрытанными жабрами. Рыба была жирной, погуляла, поела в море вволю – из сетки на рифленый пол камбуза чистыми слезными каплями падало светлое сало – дорожка осталась помеченной благородной рыбьей капелью.

Повар – валдайский мужик, который до Архангельска моря никогда не видел, а теперь ни за что не желавший с ним расставаться, – решил человек, что на море и умрет, а в завещании попросит, чтобы тело его запечатали в новый мешок, к ногам привязали чугунный колосник и сбросили в волны, – помешал лопаткой приправленный бульон, потом из-за полотенца, которым был перепоясан, как кушаком, выдернул кривой шкерный нож, достал из авоськи пятнистую здоровенную рыбину с толстой негнушейся спиной, приподнял – треска аж затряслась от недоумения, она с сипом ворочала жаберными крышками, сонно ворочала глазами, словно бы вознамерилась спросить у валдайского мужика: что же это такое с ней собираются сделать? Но валдайский мужик не был приверженцем игр в вопросы и ответы. Он легко, почти невесомо провел острием ножа по воздуху, и из трески вывалилась жирная коричневая печень. Повар ловко подхватил печенку, сунул в медный чан с «приправным» варевом, а треску вытолкнул в иллюминатор: пусть погуляет в море, подышит малость, кислородом попытается.

Правда, пока рыбина летела в воду, с ней попытались познакомиться чайки, сцена была бурной, и треска шлепнулась в рябь уже наполовину объеденной, с выклеванными глазами и ревматически сведенным в огромную немую щепоть хвостом.

А повар тем временем извлек из авоськи вторую рыбину, знаковым стремительно-ловким движением распластал белое толстое брюхо, изъясил печень и снова кинул в чан. «Приправное» варево забулькало глухо, сыто, в воздухе возник сладковатый нежный дух, вышибающий невольную слюну, печень заворочалась в вареве, то ныряя на дно чана, то всплывая на поверхность, и с каждым таким нырком светлела, прозрачнела, уменьшалась буквально на глазах, она таяла, в вареве вспухали и лопались огромные жирные пузыри. Повар вышвырнул и вторую треску в иллюминатор, из третьей тоже изъясил «душу», опустил в чан, а брэнное тело по примеру первых двух выпихнул в море.

Тресочьи «души» – три огромных маслянистых комка печени растаяли в считанные минуты, были комки и нет их – растворились в булькающем душистом вареве, превратившись в пузыри, в жировые пятна, в суповой дух – а дух действительно возник знатный, настоящий дух еды, он щекотал ноздри, небо, забивал рот слюной. На камбузе стало невмоготу находиться, это уже превращалось в пытку, в самоистязание – человек запросто мог потерять сознание. Полоротому салаге-сопровождающему, видать, нравилось состояние Суханова, он стоял, вытянувшись по стойке «смирно», пятки вместе, носки врозь, с оттопыренными, насквозь просвечивающими красными ушами, молча вращал зраками, словно некий зверек из мультфильма, и поводил носом из стороны в сторону. Тут Суханов понял, что не из-за него салага задержался на камбузе, сопровождающий был нем и, похоже, не жил, а вот обоняние, зрение, слух его предельно обострились, подчинили себе все худосочное, замороженное учебной существо, – салага, видать, был не дурак поесть.

Первая порция печени растворилась мгновенно, и кок уже нетерпеливо поглядывал на дверь – когда там девчушка-поваренок притащит вторую партию, на лице его возникла тревога, будто варево из-за минутной задержки могло пострадать, ноздри расширились зло, запрядали, около рта образовались жесткие складки – валдайский мужик свое дело знал и работал, что называется, по собственной науке, – обвяло и подобрело его лицо, лишь когда в двери камбуза появилась девчушка. В сетке она вновь принесла три тяжелых живых рыбины.

Кок мгновенно опростал треску, сунул печень в котел, и эта, вторая порция рыбьих «душ», растворилась так же быстро, как и первая, бульон загустел, приобрел медовый отлив, вязкость, жировые пятна, плавающие вразброс, как блестящие золотые монеты, слились в одно, образовав лаковую плоску. Дух на камбузе вызвездился такой, что ушастый салага-штурман побледнел, облизал губы, кожа на его лице сделалась прозрачной, ноздреватой, в точечках-поринах, словно свиное шевро – есть такая кожа, на сумки и перчатки идет.

А кок уже снова нетерпеливо поглядывал на дверь, ждал, когда негодная девчонка, которую только за смертью посылать, притащит материал для третьего заброса. Хоть и ерзал повар плечами, и зло напрягался лицом, а девчонка-поваренок работала хорошо, она была шустрой, как мышка, и не замедлила явиться с третьей партией. Треска в этой партии была немного помельче, чем в первых двух, понежнее – так было задумано коком, третья порция тресочьей печени не должна была растаять в бульоне, который уже набрал вязкость и насытился жиром, а – сохраниться и растаять во рту именитого едока, каким являлся приехавший с Сухановым полярный капитан с сандаловой клюкой.

Когда бульон был готов, девчонка-поваренок, исчезнувшая внезапно, хотя внезапно ничего не было, кок прищелкнул пальцами, и девчонка этот сигнал мгновенно приняла, послушно принесла эмалированный таз, в каком обычно стирают белье. В тазу ровненькими рядами была уложена полуснулая небольшая рыбешка, которую на севере знают даже пацанята. Каждая рыбешка отлита из серебра высокой пробы, подчернена по спине и средней «чувственной» линии, но главное не это – рыба буквально до слез, одуряюще остро, нежно пахла свежими огурцами. Это была корюшка.

Заправив печеночный бульон молотым перцем, укропом, добавив туда пару цельных луковиц с неснятой кожурой – кожа специально не снимается, чтоб бульон не помутнел, как предупредительно объяснил повар, – еще что-то, неведомое Суханову, который вообще плохо разбирался в гастрономии и кухонном искусстве, нарезав какой-то незнакомой пахучей травки, кок вывалил в варево таз с корюшкой.

Уха сделалась крутой, похожей на кипящий холодец, – ложка, опущенная в нее, стояла не падая, словно ее воткнули в масло.

Через пятнадцать минут уха была подана сердитому полярному волку, тот отведал и размяк буквально на глазах, сделался говорливым, добрым и покладистым.

Пока ели уху в капитанской каюте, Суханов обратил внимание на девушку, которая обслуживала их стол. Она каждый раз возникала внезапно, стремительно выплывая из сумрака узкого коридорчика, ведущего прямо к капитанской двери, шаг ее был бестелесным, легким, как дым, ничто не отзывалось на ее поступь, не было ни стука, ни скрипа, ни цоканья, хотя девушка ходила в туфлях на высоком тонком каблуке и должна была где-то ступить на металлический порожек, медную пластину, врезанную в пол, оставить после себя какой-то звук, но она была невесома, словно дух, походила на цыганку пушкинской поры, засланную представителями неведомого мира, возможно даже живущими в двухмерном измерении, в их шумную кампанию.

Впрочем, шумел только полярный волк, он оттаял, развеселился, много говорил; капитан-рыбак предпочитал молчать, внимательно слушал гостя, поддакивал, все засекал и намазывал на ус. Гость тем временем рассказывал про то, как недавно на Севере погиб один канадский «корабель», – он так и произносил это слово «корабэль», с ударением на последнем слог, раскачивался, сидя на стуле, внутри у него что-то шумно бултыхалось – похоже, что трюм полярного волка был наполнен доверху, лить уже некуда, но старый суровый капитан продолжал заправляться – знал, что запас карман не трет. «Корабэль» тот хорош был, специальный, в арктическом исполнении, ледокольного типа. В двадцати милях от норвежского порта он подал сигнал бедствия, на поиск его немедленно вылетел самолет береговой охраны и довольно быстро нашел льдину, на которой находилось пятнадцать человек – четверо живых и одина-

дцать мертвых. Самого судна уже не было – лежало на грунте, отойдя на вечный покой. Как произошла катастрофа, никто не мог объяснить. И сейчас, когда вон уже сколько лет прошло с той поры и техника поднялась на несколько порядков вверх, стала качественно иной, а поисковая аппаратура – такой, о коей старый полярный волчара даже думать не мог, а загадка того судна так и продолжает быть загадкой.

Оставшиеся в живых сообщили, что «корабёль» получил удар в правую скулу и лег на левый борт. Что это за удар, что за пинок – никто не мог объяснить. Скорее всего, канадец наткнулся на съеденный плоский айсберг, который не виден сверху, локаторы его не берут – плавает на поверхности небольшая иссосанная ветром и водой безобидная льдинка с оглаженными краями, и все, а под безобидной шапкой – огромный, в несколько десятков тысяч тонн торс. Обычно такой торс бывает слеплен из столетнего спекшегося льда, что много тверже чугуна. Видать, вахтенный помощник, ведущий судно, обманулся.

Пока старый полярный волк рассказывал, цыганка дважды входила в каюту, приносила закуски, поправляла стол, Суханов любовался ею: на улице на таких девушек обязательно оглядываются, они знают себе цену, ибо только они, такие девушки, и умудряются обрести ту форму и стать, которая уже не требует никаких поправок, и все, кто находится рядом, в том числе и Суханов, невольно ощущают свою незаконченность, тяжеловатую грузность тела, нелепость мышц, буграми наляпанных на кости, осознание этого заставляет досадливо краснеть, замыкаться, думать о чем-то своем – словом, такие женщины превращают живого человека в некоего дуба, в бессловесный пень с вытарашенными глазами.

Салага-штурман, который малость оттаял, обрел способность жить после трех тарелок ухи, заметил интерес Суханова к цыганке, вяло поковырялся спичкой в зубах и нехотя сообщил, что эту девушку зовут Любой, приехала она на Север из Молдавии вместе с мужем и вот уже два года плавает на траулере. «А муж? Где муж?» – «Муж тоже плавает», – сообщил салага. «Кем же?» – «В рыбцеху что-то делает. Помогает... Не по моей это части, точно не знаю...»

В это время у полярного волка кончилось пиво – он пил пиво и уничтожил уже порядочную батарею, пустые бутылки повзводно выстроились по правую руку от него, и если бы из них можно бы было дать залп, то надстройка траулера была бы сметена пробками подчистую, бутылок насчитывалось десятков шесть – капитан траулера предложил:

– Может, я еще пива принесу?

– Не надо, – отрезал старый полярный волк, зацепил краем глаза Любу, мотнул головой в ее сторону, – пусть официантка принесет.

Та вдруг обрезала свой невесомый летящий шаг, выпрямилась, и Суханов неожиданно увидел, что у нее глаза редкостного цвета – золотистые, точнее, не просто золотистые, а какого-то сложного замеса: тут и янтарный цвет был, и пивной, и гречишный, прозрачно-медовый, и дорогие золотые блестки, – сняла что-то с кончиков глаз, проговорила низким тихим голосом:

– Я не официантка, я – буфетчица.

Старый полярный волк поежился, словно ему за шиворот попало несколько ледышек, крякнул смущенно, зажал руки коленями. Пробормотал сырым застуженным басом:

– Пора бы и перед командой выступать.

– Ничего, – успокоил его капитан рыбаков, – еще есть немного времени. Команда собирается. Когда соберется – дадут знать, – и тоже, как и старый полярный волк, поежился, потерся ухом о плечо, видать, хотел принести извинение за Любину резкость, но гость взял в руки клюку, громыхнул ею об пол, давая отбой всем извинениям: лишнее, мол. Через пятнадцать минут Суханов, выглянув в узенький, застеленный ковровой дорожкой коридорчик, ведущий к капитанской каюте, увидел вдруг, что старый полярный волк, отбросив в сторону дорогую лакированную клюку, неожиданно смял Любу, шедшую ему навстречу, притиснул к непрочной гулкой переборке. Суханов хотел выругаться, крикнуть, что у Любы есть муж, он плавает

тут же, на траулере, муж не замедлит прибежать и навешает старому ледодаву оплеух, но сдержался, пробормотал про себя: «Вот пшют!» – и снова убрался в капитанскую каюту.

Через полчаса состоялась встреча. Старый арктический волк бормотал что-то полусвязно, пугал рыбаков медведями и айсбергами, полярной ночью, северным сиянием и «летучими голландцами», вмержшими в лед, которые дед сам – Суханов был готов дать голову на отсечение – никогда не видел и не верил в них, да и рыбаки в «голландцев» тоже не верили, лица у многих были сомневающимися, в глазах – шалый блеск: во дает старикан! – а дед загибал вовсю. Он увлекся, и Суханов перестал его слушать – смотрел на Любу. Та почувствовала его взгляд, повернула голову и словно бы утопила Суханова в своих теплых золотистых глазах.

Люба сидела по одну сторону Суханова, салага-штурман по другую, он тоже перестал слушать старого полярного волка и начал шепотом рассказывать о том, как трудно приходится в рейсе рыбакам. Во-первых, они по восемь месяцев не бывают дома, хотя врачи им четко определили: два месяца и ни дня больше, ибо через два месяца с человеком начинают происходить необратимые изменения, что-то нарушается – что именно, четвертый помощник капитана не знал, сделал неопределенный жест, сказал, что моряки, возвращающиеся из таких плаваний домой, обычно бывают полными нулями. Как мужчины они – нули, им всему надо учиться заново, ничего крепкого, прочного у них нет, приходят потом в слезах в партком, жалуются, говорят, что их можно доить, как коров, и жены тоже приходят, кричат озлобленно: да будь проклята эта ваша рыба! Что она с мужиками сделала?!

В общем, через два месяца моряка во избежание неприятностей надо отправлять домой. Но как его отправишь, когда он ловит сладкую рыбку нототению где-нибудь на краю краев земного шара, возле берегов Кубы. Это ведь надо чуть ли не все океаны по косой одолеть, семь винтов сработает, прежде чем домой доберешься, денег громаднейших стоит – при таких запросах в дальние концы матушки-земли лучше не плавать, а скрести лужи авоськой у себя дома, вылавливать головастики. Ведь головастик тоже рыба, если, конечно, закрыть глаза, – и хвост имеет, и плавает по-рыбы. Есть и еще одна причина, по которой рыбаку нельзя после двух месяцев отлучки спешить назад, – заработок. Ведь через два месяца после ухода из порта обычно начинается самый лов.

Зеленый салажонок-коллега еще что-то нашептывал Суханову на ухо, приводил примеры, сыпал цифрами – видать, в этом он был подкован, Суханов краем уха схватывал речь и был целиком согласен с коллегой, но потом уловил грозный хмельной взгляд старого полярного волка, вспомнил его просьбу записать все интересное и сочинить заметку в судовую стенгазету, выхватил из нагрудного кармана узенький блокнотик, по размеру своему больше годный для скручивания «козых ног», проворно застрочил карандашом, выводя на бумаге ровные строчки-стежки. А коллега продолжал тем временем распространяться, говорил о психологии моряка, о том, как он себя ведет накануне отплытия, в день отхода, через две недели, через месяц и через два месяца – видать, этого паренька здорово подковали в теории. Суханову хотелось хлопнуть его ладонью по плечу, оборвать, но он не делал этого, лишь морщился недовольно и по-цыплячьи робко косился на свою соседку.

Раза два, почувствовав сухановский взгляд, она поворачивала к нему голову, затягивала в золотистую бездонь своих глаз – у Суханова дыхание осекалось, в горле начинало першить, он с головой погружался в бездонь, – молча спрашивала, что Суханову надо, но Суханову ничего не было надо, и Люба снова отворачивалась от него, переводила взгляд на старого полярного волка. Суханову почему-то мнилось, что у этой неземной женщины должно быть неземное предназначение, начертанное ей Богом, она должна уметь исцелять, заговаривать боль, раздавать прощения, векселя на надежду, обещать исполнение желаний даже тем, у кого все черным-черно на горизонте, ни одного светлого промелька уже не предвидится – жизнь позади, уничтожать долговые расписки, источать свет, превращать булыжники, валяющиеся на дороге, в драгоценные камни – она была возвышенна, выпадала из общей угрюмой массы, не вязалась

ни с одним из этих людей. Суханов попробовал угадать среди сидящих ее мужа, не угадал, а потом заметил, что за Любой, тесно прижимаясь к ее плечу, сидит маленький, серый, нахохленный, словно воробей, человек с незапоминающимися, какими-то стертыми чертами лица.

Возможно, это и был Любин муж. Суханов позавидовал ему: надо же, такая слепящая жаркая красота досталась человеку!

А коллега все не унимался, говорил, что накануне отхода иной рыбац так накачивается, что сам бывает не в состоянии ходить, его, беспмятного, оглохшего и ослепшего от тоски, приносят на причал родственники и сдают с рук на руки вахтенной команде.

Собрав всех своих людей, траулер дает печальный гудок, прощается с берегом и отплывает. Очнется на следующий день рыбац-выпивоха, протрет глаза, потянется привычно к стакану, и рука его обвиснет на полпути, задрожит – ухо, оно острее глаза и замутненного мозга, оно уже поймало стук судового двигателя, звяканье незакрепленного железа, плеск волн за бортом – все, назад дороги нет, путь теперь только один – к кильке, нототении и рыбе с неприличным названием бельдюга, начинает рыбац прокручивать в памяти былое, то, как прощался с женой и отцом, но ничего не может вспомнить – все огрузло, растаяло в хмельном тумане.

Он достает из чемодана большой семейный альбом – все рыбаки возят с собой такие альбомы с пестрорядью фотокарточек, приклеенных к толстым негнувшимся страницам, начинает рассматривать дорогие снимки, хлюпает носом, тоскливо поглядывает в иллюминатор, вспоминает прошлое и без особой охоты думает о будущем.

Потом траулер приходит на рыбацную банку, и начинается тяжелая работа, в которой человек перестает ощущать самого себя, забывает о еде и сне, о доме и земле, что его когда-то родила, – его целиком съедает рыба. Рыба в пору лова властвует всюду, она в трюмах, под ногами, в сетях, на обеденном столе, в карманах штормовок, в кубриках, на палубе, солится, прессуется, морозится, гниет, вялится, закатывается в банки по индивидуальным рецептам – везде рыба, рыба, рыба, острый нездоровый запах, чешуя, кости, отрезанные хвосты и плавники, с корнем выдранные горькие жабры. И как только человек не свихнется в такой обстановке – никому не известно: все подмято работой, великим терпением рыбака, старающегося глушить в себе и боль, и неудобство, и тоску, и бессонницу. Бессонница... Если ноют-саднят в кровь изодранные руки и ноги, разве уснешь?

Но когда пройдет два месяца, во все глаза смотри за втянувшимся в работу человеком, втолковывал Суханову четвертый помощник капитана, как будто ему уже доводилось приглядывать за озверевшими мужиками и при случае окорачивать их, ставить на место: таким деловым и уверенным был хрипловатый шепоток салаги. На одном траулере некий сбрендивший моряк после двух месяцев плавания проткнул капитана багром – в человеке накопилось неудовлетворение, злоба, мозги в голове вскипели, и он потерял контроль над собой. В общем, смотри в оба. У японцев, например, такие ситуации разламывают просто, одним ударом, как в борьбе джиу-джитсу: увидит капитан, что у какого-нибудь плосколицего рыбака лицо в фанерку обратилось, совсем плоским, как подставка для сковороды стало, глаза мутные, зенки белесые, так сразу знак делает – пора, мол. Дюжие молодцы хватают рыбака под микитки и втаскивают в специальную комнатенку. Швыряют на пол, включают все лампы в той каюте-комнатенке и уходят, дверь запирают на ключ.

Поднимается рыбац с пола, кипит от негодования, трясется, ничего не соображает и видит, что в комнатенке – полный набор резиновых кукол. Тут и капитан в парадной форме с аксельбантами и золотым шитьем на мундире, и старший штурман с его наглой самурайской физиономией, и рыбацмастер, и тралмастер – в общем, весь командный состав, все, кого рыбац может ненавидеть. С воем кидается на свое начальство и начинает крушить.

Через полчаса рыбака извлекают из комнатенки с разбитыми кулаками и лохмотьями кожи, свисающими с ободранных рук – безвольные недвижные резиновые куклы умеют, ока-

зывается, давать сдачу! Выдохшийся изможденный рыболов тих, как курица, и напуган случившимся. Его снова водворяют на рабочее место.

– А как быть, если что-нибудь подобное стряется у нас? А? – шепотом вопрошал зелено-ротый коллега, делал глубокомысленную паузу и, не обращая внимания на бормотанье заслуженного северного ледолава, разводил руки в стороны, показывая, какая большая это проблема, качал головой и тяжело вздыхал. – У нас-то ведь резиновых кукол нет, не отливают, проще самому старпому или, допустим, мне свою физиономию подставить. В общем, тяжелая ситуация, очень тяжелая, – салага сыро хлюпал носом и угрюмо смотрел в пол. – А пары спускать надо, нельзя доводить команду до нарыва. Не то если вспухнет и прорвется – о-о-о, пароход вверх килем может опрокинуться. Словом, когда уже окончательно приспичит, мы собираем профсоюзное собрание, садимся за длинный обеденный стол. Рядовые члены команды по одну сторону стола, офицерский состав – по другую, – салага слова «офицерский состав» произнес со звоном и шиком, приподнятым голосом, будто не горбился только что, – и начинается разговор. С матом, на повышенных тонах, с кулачным буханьем по столу. Часа полтора идет словесная баталия, все выговариваются, изнемогают в борьбе и расходятся по своим рабочим местам, чтобы через два месяца снова сойтись на очередное профсоюзное собрание. – Вот как это происходит у нас, коллега!

В это время старый полярный волк приступил к ответам на вопросы. Вопросы большей частью были однозначные: как там насчет быта на ледоколах, хорошая ли лавка, жестокости запреты на спиртное, и много ли рядовой ледолав зарабатывает? Дед-капитан подморгнул Суханову – записывай, парень! Суханов послушно скорчился над своим блокнотиком, но вот какая вещь – фамилии тех, кто задавал вопросы, он пропустил – мешал хриплый шепоток четвертого помощника капитана.

Суханов повернулся к Любе, столкнулся со спокойным, ничего не выражающими глазами ее мужа, что-то в нем дрогнуло внутри, сжалось, а у Любиного мужа ничего не дрогнуло, и Суханов, одолевая самого себя, холод и внутреннюю дрожь, наклонился к Любе, спросил едва слышно, как фамилии орлов, что задавали вопросы? Снова столкнулся глазами с немигающим отсутствующим взглядом Любиного мужа.

Красавица Люба медленно наклонилась к нему голову и внятно, прорисовывая каждую букву, сказала, что вон того, небритого, натянувшего тельняшку прямо на голое тело, зовут Валерием, фамилия – Филонов, того, кто про заработок рядового ледолава спрашивал, – Иваном Мирошниковым, а лысого, угрюмого, который пытался старому полярному волку поставить подножку насчет спиртного, – Федором Агеенкой... Люба еще что-то говорила, называла фамилии, показывала глазами на людей, кто где сидит, но ничего этого Суханов уже не слышал, в голове у него застучал отбойный молоток, в виски натекла тяжесть, лицо запылало жарко и красно, от него, как от раскалившегося «козла» – бешеной электрической печушки – тянуло теплом. Разговаривая, Люба положила свою горячую ладонь ему на ногу, выше колена, под ее ладонью брюки будто бы затлели, Суханову сделалось нехорошо, душно, он не знал, куда деваться, ловил ртом воздух и смотрел в немигающие, какие-то посторонние, словно его ничто на этом свете не трогало, глаза Любиного мужа.

Ежилась, горбилась Суханов, кряхтел, пытался локтем сдвинуть Любиноу руку с ноги, но Люба этих попыток не замечала, она словно бы испытывала Суханова, а Суханов был готов сквозь пол провалиться, он сгорал в невидимом пламени, ругал себя за то, что обратился к Любе с вопросом, что сел именно тут – ведь мог бы найти место на скамье в противоположном углу, мог вообще стать в проходе и подпереть плечом низкую судовую притолоку. Сейчас ему наверняка придется объясняться с Любиным мужем – вон как тот буравит его глазами, словно бы насквозь протыкает, крупные руки с крупными суставами и оплощенными от тяжелой работы пальцами подрагивают на коленях, чешутся – дай им волю, придушат Суханова.

Он наверняка уже не одного морехода придушил на этом судне из-за красавицы-жены, сейчас затеет разбирательство на людях, ткнет кулаком в глаз. А Люба все не убирает руку с его ноги...

Нет, так просто этому мухомору он не дастся, на людях не позволит себя обидеть. Суханов поугрюмел, поиграл в ответ напряженными мышцами, проверил, так сказать, себя.

Когда расходились, Любин муж ему ничего не сказал.

А вот зеленоротый коллега на прощание хихикнул:

– Ты, как я заметил, на Любу глаз положил?

От неожиданности Суханов приподнял плечи, он не знал, что ответить.

– Да ты не бойся, не продам. Положил ведь, а?

– Полюбовался немного, – нехотя проговорил Суханов.

– Ею не любоваться, ею заниматься надо, – насмешливо заметил четвертый помощник капитана, посмотрел на Суханова в упор, и Суханов понял вдруг, что этот зеленый салага не так уж зелен, он знает нечто такое, чего не знает Суханов, и на познание этого Суханову понадобится немало времени.

– Как так? – не понял Суханов.

– Очень просто. У Любки на корабле есть штатный муж, он с нею рядом сидел, за локоть держал, и сорок четыре нештатных.

– Сорок четыре? – хриплым, показавшимся ему страшноватым голосом переспросил Суханов, дернулся неверяще и чуть не заплакал – показалось, что этот салага-штурман кровно обидел его, слишком грубо и безжалостно поступил, сообщив ему то, чего не должен был сообщать, разрушил сказку, растоптал ногами прозрачный стеклянный домик... Тоскливыми глазами посмотрел на мутное вываренное пятно солнца, висевшее над портом, и ему показалось, что вместо одного солнца в небе плавает целых четыре, каждое покрыто слепой ороговелой пленкой, похожей на куриное веко, и нет от этих светил никакого прока – ни тепла, ни радости. Суханов съежился, бросил своего сопровождающего. Тот затопал сзади ботинками по судовому железу, пытался что-то объяснить, хлопал Суханова ладонью по спине, но Суханов уже не хотел что-либо видеть или слышать. Впрочем, после каждого хлопка его одолевало желание обернуться и двинуть зеленогубого сопляка кулаком, но он сдерживал себя, в самых дальних закоулках сознания хранил завязанный на память узелок: он находится в гостях и обязан вести себя как гость.

Мальчишкой тогда был Суханов, сопляком, все принял, словно заряд дроби, в себя, ему казалось, что дробь перешибла хребет, сбила с ног и он, как последний опустившийся бродяга, бездомный и хмельной, валяется в придорожной канаве, пахнущей пылью, мазутом и кошками.

Долго потом Суханов вспоминал Любу с рыболовецкого траулера, винил ее, клял, а потом прощал, хотя никакого права, чтобы клясть ее, винить, не имел. Все это детское, никчемное, хотя и слезное. Исходя из нынешнего своего опыта, из возраста, Суханов считал, что у молодого человека органов чувств гораздо больше, чем у взрослого, уже потертого жизнью, с задубевшей кожей. Иначе отчего же юные люди бывают такими квелыми. И к чему все эти слезы, копеечные страдания, маята? Кем он доводился ей, чтобы страдать? Мужем, братом, деверем? Чтобы маяться, вначале надо было обрести Любу, а обретя, потерять – вот тогда, вероятно, можно было прислушиваться к собственному сердцу: живо оно еще там?

И если бы ему позже попался зеленогубый любитель наушничать, он бы точно отделал его по первое число, научил бы правилам вежливости и главному из них: никогда не говори о женщинах дурно, в любом, даже самом никчемном и падшем человеке постарайся найти высокое начало, доброе зерно, приподними его до самого себя, сам поднимись до уровня кого-то еще, более высокого и более почитаемого, потяни эту веревочку за собой, продерни сквозь все узкости и колена, и это обязательно воздастся сторицей.

Каждый раз, сходя на берег, Суханов всматривался в лица моряков, попадающихся навстречу, встречал многих знакомых и уже забытых людей, встретил даже как-то у черта

на куличках, в Певеке, Севку Воропаева, друга детства, с которым вместе сидел за партой в школе, но потом жизнь развела их в разные стороны, Суханов стал плавать, а Севка преображал Колыму, работая строителем на атомной станции, встречал ребят из своей мореходки и тех, с кем проходил практику на заслуженном паруснике «Крузенштерн», но зеленогубого юнца-штурмана так ни разу не встретил. Как не встретил и Любу.

Потом он понял, что подобный поиск никчемен и смешон, вполне возможно, что никакого рыболовецкого траулера не было, как не было и слепящей золотоглазой цыганки с невесомой походкой, ее неприметного стертого мужа, беседы и той дивной ухи. Хотя уха, наверное, была, иначе с чего же собирается во рту вязкий комок – сколько лет прошло, а он все ту уху вспоминает, до сих пор его тянет хлебнуть несколько ложек божественной юшки и заесть ее куском мягкого, пышного, как взбитая сметана, белого хлеба.

Солнце тем временем окончательно проклюнулось сквозь сизую наволочь, еще немного, и наберет вчерашнюю силу. День вчера был по-настоящему весенним, прозрачным. Погода сейчас переходная, конец марта, – ни весенняя, ни зимняя, день на день не приходится, еще и пурга завяжет свой узел на небе, со свистом и хохотом рухнет на землю, перекрутит, взболтает все, смешает воду с суши.

По радиотелефону прошло сообщение, что в районе одного плоского, как лепешка, островка, на котором, кроме маяка-ревуна, подающего свои хриплые тоскливые сигналы, ничего нет, оторвало швартовую бочку и унесло в море. Швартовая бочка – тяжелая, сидит глубоко, сталкиваться с ней все равно, что с миной: борт раскроить можно, дрейфует бочка где-то здесь, рядом, не должна она далеко уйти.

Хоть порт и остался уже позади, а чаек было все так же много. И ни одной красной. И вообще, красная чайка – это бред, мираж, сон, вымысел, не водятся в Арктике птицы попугайского цвета.

Вся живность в Арктике двух тонов – серого и белого. Только тогда можно быть неприметным в стылой кипени снегов, в нагромождении льда и обмерзлых, в скользкой белёсой скорлупе камней, а сярким опереньем – как голенький на ладони, со всех сторон виден, изда-лека.

Он понимал, что будет тосковать по Ольге, иногда она ему будет чудиться среди многих лиц, обитающих на ледоколе, а женщин здесь много, больше, чем на других судах: и в медсанчасти, и на камбузе, и в кают-компании, и среди obsługi – без женских рук железный ледокол превращается в угрюмую необходимую железку.

Но любая потеря – это еще не остановка, жизнь продолжается, на то она и жизнь, чтобы в ней образовывались пустоты, от нас уходят женщины, уходят годы, уходит былой покой, на смену им мы получаем старость, которая также не является итогом, конечной точкой пути, а неким взволнованным и мудрым состоянием души, в котором будет немало светлых радостных дней, когда все бывает донельзя понятно, все счета сведены и остается только одно – ждать, вместо одних женщин возникают другие, а покой, который сменила бессонница, возвращается с помощью целебных микстур и успокоительных таблеток, одно состояние диалектически вытесняется другим, и этой смены не надо бояться.

Улетучится тоска, пройдет печаль, вся нервная муть, обида, возникшие после расставания с Ольгой, улягутся, земные заботы свалятся с плеч, словно гнилые вериги, останутся только заботы морские – и это будут заботы одиночества, – в неделе просто станет больше воскресений. Хотя в море воскресений не бывает, воскресный день от обычного, невоскресного, отличается только тем, что в обед в кают-компании подают курицу – цыплячье крылышко либо грудку, – такое впечатление, что куры только и состоят из одних крыльев и жестких белых грудок, каждая несушка имеет по пять пар крыльев и ни одной ноги, сколько Суханов ни ел воскресную курицу, ему обязательно попадались синие пупырчатые крылья, обильно политые

густым жиром, на завтрак – традиционный сыр и чай, а ужин, он уж вольный, что захочет кок на плите смастерить, то и мастерит.

В конце концов наступит момент, когда былые обиды и поражения покажутся мелкими, не заслуживающими того, чтобы по их поводу печалиться, произойдет окончательное отторжение от того, что было, и наступит облегчение. Но до этого момента надо еще дотянуть, не годится кричать «гоп», пока плетень не перепрыгнет и в самом себе не найден спасительный источник света, способный облегчить муку и помочь в одолении медленно тянущихся, будто специально созданных для пытки серых дней. Впрочем, и этих дней не надо бояться, они тоже останутся позади.

Когда прошли южное колено залива, за ним среднее, миновали заснеженный голый мыс Шавор и одолели часть северного колена, появилась чайка, на которую все обратили внимание. Чаек в этом колене было почему-то больше, чем в ковше, – нахальных, горластых, жадных. Чайки вечно волокутся за пароходами, ныряют вслед, выхватывают из пены зазевавшихся рыбешек, либо летят на уровне камбуза, который определяют безошибочно, заглядывают в иллюминатор, клянчат подачку, но никто никогда не обращает на них внимания, а на эту чайку обратили: грудь и крылья у нее были яркого брусничного цвета.

– Что за черт! – изумился лоцман, вытянул шею, привстал на цыпочки, чтобы получше рассмотреть диковинную птицу, и совсем забыл про ледокол, который вел, на висках у него проступили темные натуженные жилы, словно он поднимал что-то тяжелое. – Вот те раз!

Капитан Николай Иванович Донцов даже рот открыл, из зубов выпала трубка, полетела на пол, от удара выбило ароматный дорогой табак, и он золотым махристым сеевом распластался на ковре. Капитан на трубку даже не глянул, она сиротливым деревянным сучком валялась под ногами. Чтобы капитан не раздавил свою драгоценную трубку ботинками, Суханов нагнулся и поднял ее. Про себя удивился: надо же, если бы сейчас с небес посыпал дождь, на буграх и швартовых бочках выросла бы крапива, а на земле, на частых, до основания промерзших островках, каких в Кольском чулке десятки, вымахали бы апельсиновые деревья с оранжевой россыпью зрелых плодов, то Донцов рта бы не открыл, принял как должное, а тут распахнул его настезь, словно новобранец, хвативший перцу в батальонной столовой.

Из двери, ведущей в радиорубку, вымахнул Алеша Медведев, плотнотельный, с косолапой бесшумной поступью, выдававшей в нем охотника, любящего подобраться к зверю неслышно и потом уж наверняка угостить катаной свинцовой кашей, да и сама фамилия этого человека говорила о занятии его далеких славных предков, – одетый в неформенную джинсовую куртку с выпущенным наружу клетчатым воротом байковой ковбойки. Подойдя к лобовому стеклу рубки, Медведев замер и нехорошо покривился лицом. Может, жалел о том, что нет в руках ружья, не то бы хорошее чучело украсило его каюту. Пророботал что-то невнятное.

Чайка, распластав длинные узкие крылья, шла перед судном. Она словно бы вела ледокол на невидимой привязи, легко скользила по воздуху, подхватываемая струистыми холодными потоками, иногда поток подбивал ее ладное легкое тело, подбрасывал вверх, тогда чайка крепилась, заваливала тело набок, спускалась, затем снова выравнивала свой полет. Вот уже целую минуту она шла рядом с ледоколом и ни разу не взмахнула крыльями – планировала умело, выгибала невесомую скульптурную головку, косила черным блестящим зернышком глаза на рубку. Суханову даже показалось, что он видит в этом зернышке нечто насмешливое, унижающее его, ему захотелось схватить что-нибудь тяжелое, швырнуть в чайку, но он стоял, не двигаясь, и грустно улыбался, поражаясь тому, что видел, правоте Ольги и своему оцепенелому состоянию.

В горле у него запершило, словно он принял какой-то невкусный порошок, запил его водой, но воды не хватило, и порошок, горький, сухой, прилип к глотке, вызвал нехороший зуд, жжение, Суханов поморщился: ловко выстрелила Ольга!

Эту птицу надо немедленно ловить и совать в спиртовой раствор, она же находка для ученого мира, Возможно, эта красная чайка перевернет все и вся, объяснит происхождение человека и птиц, поможет воссоздать выпавшие звенья цепи, которые вот уж столько лет пытаются отыскать, но увы, – пока эта задача из тех, что не решаются, зубы превращаются в крошево, стираются под корешок, а задача как была твердым орешком, который невозможно раскусить, так твердым орешком и осталась. Хотя чего общего может быть между чайкой и человеком? Человек далек от птицы, как канадский город Торонто от липецкой Добринки, а антоновское зимнее яблоко, произрастающее в средней полосе России, от диковинного аравийского фрукта хермеш, смахивающего на молодую кедровую шишку, но ничего общего с ней не имеющего. Человек начинается далеко за теми пределами, где кончатся животное – будь то зверь, птица или обезьяна; между животным и венцом природы – громадный черный пустырь, который никто не знает, как одолеть. Если бы знали, то многое можно было бы изменить, подправить, подретушировать, создать некое подобие человека, но совершенно иной, быть может, более добродушной ипостаси.

Возможно, явлением этого алого дива природа приоткрывает завесу над одной из самых туманных своих тайн. Всегда была, есть и будет природа загадочна: если что-то в ней умирает, то на смену приходит новое, и это новое бывает не менее интересно, чем умершее.

В рубке установилась глубокая проволглая тишина, каждому, кто смотрел на красную чайку, сделалось холодно, неуютно, что-то клейкое, чужое, здорово мешающее, схожее с паутиной, налипло на щеки, лица сделались далекими, лишенными обычной суеты и озабоченности, каждый ощущал свою принадлежность к природе и одновременно отторженность от нее. Суханов чувствовал, что у него такое же лицо, как у Донцова, как у лоцмана, как и у всех остальных. Лицо будто бы стянуло прочными нитями, как иногда стягивает кожу зарубцевавшаяся рана, рот твердо сжат, словно Суханов выслушивает неприятную новость, глаза сухи и ничего не выражают – ни боли, ни удивления, ни разочарования, будто Суханов не плоть во плоти, а состряпан из какого-то лишенного нервных клеток теста, либо вырезан из дерева.

Он сам себе напоминал знаменитого японского болванчика-пуговицу нецкэ с плотно захлопнутым ртом, сжатыми глазами и заткнутыми ушами: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу». Но он не был японской пуговицей нецкэ. В нем все стонало, дергалось от немоги и удивления, руки остыли, перестали что-либо ощущать – он впивался ногтями в ладони и не чувствовал их. Откуда взялась красная чайка, что она означает? И что она вообще: явь, реальность или давно исчезнувшая тень?

Чайка еще немного подержалась в воздухе, паря впереди ледокола, потом, подбитая сильным встречным потоком, споткнулась обо что-то невидимое, сломалась и, резко отвернув в сторону, исчезла. Исчезла так же мгновенно и неожиданно, как и возникла.

Очнувшись, Донцов поскреб пальцами подбородок, вытер мундштук трубки о носовой платок:

– Моряки, что это было, не знаете?

Никто не ответил капитану.

Ночью, в ноль-ноль часов, Суханов снова заступил на вахту. Первым делом узнал, какой процент готовности в машине. Процент готовности – понятие, которое введено, пожалуй, только на атомных судах. Суханову ответили:

– Готовность сорок процентов.

Это означало, что реактор работал на сорока процентах мощности. Судно шло со скоростью восемнадцать узлов.

Льда в Баренцевом море было мало, да и тот – слабый, ноздреватый, плохо склеенный. Лед вяло разваливался перед носом судна на рыхлую мясистую массу, с шорохом расползался в разные стороны. Слепящие прожекторные снопы выхватывали беспокойную темную воду, огрызки льдин с чьей-то вмерзшей топаниной – глубокими следами, то ли медвежьими, то ли

еще чьими, – не понять, спекшиеся рыхлые блины, припорошенные снегом. Это выглядело несколько странно: на льдинах с топинойю снега не было, а на блинах был.

С камбуза прибежал какой-то шустрый паренек – видать, из новых, только что принятых, – принес чай на небольшом подносе, накрытом белой, негнушейся от крахмала салфеткой, поставил перед Сухановым. Тот кивком поблагодарил.

– Александр Александрович, можно мне немного побыть на мостике? – попросил разрешения паренек.

Суханов взглянул на него. Чем-то паренек напоминал того пухлогубого жениха, который устроил в «Театральном» смотрины, и эта схожесть кольнула Суханова, снова заставила думать об Ольге.

– Побудь, если нравится, – наконец разрешил Суханов.

– Нравится, – паренек встал рядом с Сухановым, вцепился руками в деревянный приклад, проложенный по всей рубке. – Скажите, Александр Александрович, а рыба здесь водится?

– Сайка, – однозначно ответил Суханов.

– Может, сайда? – не понял паренек и развел руки в стороны, показывая, каких размеров способна достичь эта северная рыба тресочьего происхождения.

– Сайка. Рыба без тела. Большая голова и большой хвост, – пояснил Суханов, – середины нету.

Когда ледокол находится в дрейфе и вмержает в лед, то сзади, около кормы, у него обязательно образуется промоина – туда сливается отработанная теплая вода, промоина курится, пысит мокрым паром, пар этот замерзает, превращается в звонкую ледяную каплю, со стеклянным щелком опускается в воду, в промоине что-то ворочается, бурлит, и невольно чудится, что из темной глубокой воды сейчас вымахнет чудище с ороговелой спиной, острозубой пастью и мечтательными фиолетовыми глазами, на нижней палубе всегда толпятся матросы, заглядывают в курящуюся промоину и пробуют свое рыбацкое счастье – насаживают на крючок кусок мяса либо хлебную горбушку, приправленную для «духа» подсолнечным маслом, плюют на наживку – традиционная шутка, не поплюешь, добычи не будет, рыбешка сдобренную наживку брать любит – и швыряют в дымную промоину: ловись рыбка большая и маленькая!

Иногда рыбка ловится, но чаще всего нет. Если ловится, то только сайка – головастая, дурная, с выпученными, подернутыми нездоровой желтизной глазами, такая тощая, что ребра у нее, как у подгнившей селедки, ощущаются даже сквозь чешую.

Изогнувшись кольцом, сайка немедленно приклеивалась мокрым хвостом к голове – словно бы на пальцы насаживалась, и такая гнутая, как бублик, мгновенно одеревеневшая от мороза, поступала на камбуз. Там кок брал ее в руки, вертел оценивающе, подкидывал, пробуя на вес, и бросал в лохань с обедками. Намерзшимся же рыбакам готовил что-нибудь из мерлузы или простипомы, подавал на стол прямо в сковороде, те, обжигаясь, придыхая, ели, смачно обсасывали каждую косточку и хвалили самих себя: все-таки ловкие они добытчики, не последние, так сказать, на этом ледоколе!

Над «удачливыми» рыбаками потихоньку посмеивались.

Низко в небе, прямо по курсу, страшновато, мертвенно, одиноко высветлилось небо, изгибистая мутная полоса северного сияния проползла вперед, разрубая облака, шевелясь и кидая на воду зеленоватые отблески. К горлу подступило что-то нехорошее, шею под челюстями сдавило: ощущение такое, словно сверху кто-то наблюдает за судном, старается предугадать действия, того гляди, протянет хваткое сильное щупальце, попытается остановить, либо сделает что-то худое, причинит боль.

Человека почти всегда охватывает страх и восторг одновременно, когда он видит сполохи в небе, цветные жутковатые ленты северного сияния – от загадочного небесного свечения перехватывает дыхание, сердце останавливается, совсем его не слышно, все пропадает, даже судно проваливается под воду – ничего кругом нет, кроме человека и длинной светящейся

бескостной рыбины, плывущей по-над облаками. Вот у рыбины светлеет, вспыхивает яркими брызгами пузо, наливаются яростным зеленым огнем глаза, видно, как работают ее хищные челюсти – наткнулась рыбина на что-то вкусное, приостановила свой лет, сжевала и снова, изгибаясь по-змеиному, вихляя хвостом, двинулась дальше, потом неожиданно скакнула вбок и назад, хапнула еще что-то, взорвалась брызгами, резво заскользила дальше, обогнала паромход, втянула свое гибкое угриное тело в темные непроницаемые облака, стихла. Едва исчезла небесная рыбина, как в прорехах между облаками засветились звездочки.

– Какая жуть! – зачарованно проговорил паренек-поваренок. – Как у Высоцкого: страшно, аж жуть. Так всегда бывает?

– Зимой каждый день. Ты иди, а то кок, наверное, уже все гляделки проглядел – сковородки, небось, некому мыть?

– Все сковородки давным-давно вымыты.

– Как тебя зовут?

– Романюк. Михаил Егорович Романюк.

– Давай, Михаил Егорович, дуй на свое рабочее место! А то генеральный директор камбуза пожалуется на меня капитану.

– Не должен. Он добрый. Можно мне сюда иногда приходиться, а? В вашу вахту...

– Можно, – разрешил Суханов, в следующий миг услышал, как Романюк уже топает ботинками по крутой, с обмедненными ступеньками лесенке.

Суханов подумал, что надо обязательно сочинить письмо и послать Ольге. Каким оно будет, это письмо? Поежился и вздохнул: надо ли солью посыпать порезы?

«Прости меня, Ольга, за слюни, за телячью размягченность. Ты права – мужчине надо быть мужчиной. Примитивная истина, известная каждому школьнику. Не надо нюнить, не надо лить слезы, – в женскую жилетку тем более. Надо всегда бренчать в кармане деньгами, пахнуть водкой и табаком, иметь наготове разящую шутку и не киснуть, если даже тебя превратят в тесто и потребуют, чтобы вспух в квашне, не кашлять, аккуратно бриться и посещать сухопарку. Сухопаркой у нас на ледоколе зовут финскую баню. Работает баня семь дней в неделю, два дня для женщин, пять – для мужчин.

Я пишу не для того, чтобы покаяться, нет. Это уже в прошлом, а в прошлое, говорят, нельзя возвращаться, чтобы не получить удар в поддых. Ох, как это больно бывает, когда бьют под ложечку, с оттяжкой – будто колуном. Разваливают пополам. Дыхание рвется, вместо сердца одна только боль, в глазах – кровавые сполохи. Был человек как человек, две ноги, две руки, голова, сердце – все, что положено, имел, и вдруг все это исчезло, осталась одна боль. Куда деваться от этой боли – никому не ведомо. А такому простому смертному, как я, тем более.

А ты, душенька, во всех нарядах хороша. Твой отказ я пережил, хотя на следующий день чай был почему-то горьким, хлеб словно бы брал из чужих рук, а узенькие ступени, ведущие в ходовую рубку, скрипели, как рассохшиеся деревяшки, и были скользкими. Словно на чужое крыльцо всходил. Но как бы ни было печально, как ни допекала боль – все лечит время.

Теперь о красной чайке. Не верил я, что чайки могут быть алыми, ровно бы свежей кровью выкрашенные, и не поверил бы никогда, если б сам не увидел. Ты права – красные чайки есть, птицы имеют такой же опознавательный арктический цвет, как самолеты полярной авиации.

Красная чайка – птица спокойная, немного крупнее обычной серой чайки, и пожалуй, и только. В остальном она ничем не отличается. Ольга, ты взяла верх! – Суханов почувствовал, как в нем, возникнув, вспухает, будто на дрожжах, несогласие – не может быть, чтобы он вот так, запросто, наступил ногой на собственное горло, спокойно передавил хрящ, а потом занялся каким-нибудь обычным делом: штопкой дырки на тренировочных брюках или сбором в баню, – тьфу! Да ведь выть в голос надо, злиться, плакать, молить небо, Бога, чтобы он попо-

кладистее был, послал Суханову то, чего он хочет, чтобы вместо призрака солнца, отсвета его, лежащего длинным светлым рядком на землю, он увидел настоящее солнце. И лишь одно – одно, а не четыре. Почему-то горели глаза, словно их натерли жесткой шерстяной варежкой. Хорошо, что еще в притеми рубки Суханова не видели люди, находившиеся здесь – у каждого было свое дело. – Наверное, мы больше не увидимся, Ольга. Мне так кажется... Когда я приплыву в Мурманск, ты будешь уже носить фамилию того неведомого парня, и тебе станет не до меня, я позову, а ты не отзовешься.

У меня впереди плавание, и только оно. Когда теперь буду на земле, не знаю. Ледоколы до земли допускаются редко – мы встречаем караван, протаскиваем его сквозь лед, выводим на чистую воду, потом берем новый караван, тащим его через ледовые поля обратно, затем цепляем очередной караван и вновь уходим во льды. Так и работаем челноком. Без заходов в порты. Правда, в этот раз взяли груз для зимовщиков – мороженных кур. Но когда зайдем – не знаю. И я не знаю, и наш могущественный мастер, капитан Донцов Николай Иванович, не знает.

С каждым караваном мы отсылаем на Большую землю бумажный мешок с письмами. В таком же мешке уйдет и мое письмо тебе. Прощай, Ольга!»

Он попытался представить себе, чем сейчас занимается Ольга, вызвать из ничего ее образ, увидеть светлое ее лицо, тяжелые покорные волосы, серые, цветом своим схожие с осенней дождевой водой глаза, но ничего у него не получилось – вспыхнула только внутри досада, обожгла, и все.

Вечером он запечатал письмо в конверт и положил на видном месте. Опускать в почтовый ящик, расположенный на «Площади пяти углов» – пятаке подле матросской столовой, – не стал: лучше сунуть прямо в бумажный мешок.

В половине седьмого вечера появился первый лед, разреженный, хрупкий, размолотый судами, прошедшими раньше, хотя пароходы тут редки, за полтора дня пути ни одного не встретилось. Стало потряхивать. Трясется-дрожит, издавая короткие автоматные очереди, входная дверь, в пустом холодильнике прыгает кюветка для льда, трясутся прозрачные, двигающиеся по горизонтали створки книжного шкафа, вырезанные из толстого плексигласа, приплясывает плетеная урна для бумаг, а с ней – мягкая табуретка с крюком, за который табуретка прикреплена к полу, чтобы во время качки не ездил пьяно влево-вправо, катается ручка по столу, и боком движется стакан, в который налита пузырячатая минеральная вода, за стаканом впритык – электронный будильник с подслеповатым куриным экранчиком, где из-под затянутого белесым веком ока появляются, смещая друг друга, цифры; кряхтит-шевелится потолок, стонут переборки, нервно трясется лист бумаги – все приходит в движение и живет своей особой жизнью, когда судно давит днищем лед.

Небо темнеет быстро, на западе, за кормой оно рдистое, холодное, откуда-то, возникнув из ничего, появляется темная пороховая дымка, накрывает горизонт, растворяет его в своей плоти, и вот уже никакого багрянца, все глухо, непроницаемо, навстречу плывет лед и лед, поля его все чаще и чаще – ничего скоро, кроме льда, не будет. Баренцево море – это не сама Арктика, а преддверие, предбанник, откуда суда попадают уже в настоящую баню, в Карское море – угрюмое, недоброе к человеку и ко всему, что с человеком связано.

Два, пожалуй, таких угрюмых моря и есть на Севере – Карское и море Лаптевых. Впрочем, для других могут быть недобрыми, дурными, вызывающими оскомину и другие моря: это ведь у кого какая дорожка вырисовалась. В Карском море в вахту Суханова, например, на ледоколе два раза летел винт.

Хорошо, что винтов у ледокола три – у каждой машины свой, иначе неуправляемыми стали бы. Винты дают высокую маневренность, помполит Мироныч – старый морской служака, командовавший во время войны отрядом торпедных катеров, немало похлебавший соленой воды и поевший льда, он и тонул, и горел, и на дне колупался, и зимовал, и на блине дрейфо-

вал, – смеется довольно, говоря, что ледокол у них такой верткий, что даже к чайной ложке может пришвартоваться.

Подумал Суханов о Мироныче, и в дверь раздался стук. Все-таки существует таинственная, полуразгаданная, а может, и вообще не разгаданная, штука телепатия – на пороге стоял первый помощник капитана Миронов. В толстом, самодельной крупной вязки свитере с бубновыми ромбиками на груди и в старых брюках, заправленных в мягкие, подшитые на задниках хромом укороченные валенки.

Мироныч всегда тепло одевался – и на судне, в помещениях, где бывает натоплено так, что спать можно только при открытом иллюминаторе без ничего, даже без простыни, и на улице, на палубе, где ветер по-собачьи свиреп: человек давится собственными словами, хрипит, вращает вываренными от мороза белыми тресочьими глазами, пальцем тычет себе в рот, показывая, что говорить не может, все выела стужа, слова остекленели прямо в глотке, набились в нее плотно, пробку теперь разве что только спиртом можно протолкнуть, железо под ногами сухо потрескивает, стреляет колючими искрами, и не дай бог прислониться к нему живым телом – мясо от костей отслоится... Выстудил север Мироныча за годы, что он провел здесь, все внутри выел, вот Мироныч и мерзнет, в каком бы тепле ни находился.

Особенно сильно у него мерзнут ноги. Это еще с войны. Когда Мироныч потерял последний катер и с окривевшим помороженным лицом, дергающимся от контузии, переместился воевать со своими ребятами на берегу в морскую пехоту, то им прямо в заснеженные окопы старшина приволок в мешке американские кожаные ботинки, привезенные из-за океана по ленд-лизу.

Обувь была добротной, склепана, как клепают торпедные катера – с чувством, с толком и с расстановкой, крепче, надежнее и теплее этих башмаков, казалось, никакой другой обуви быть не могло.

На проверку вышло иное. Толстая кожаная подошва этих роскошных ботинок впитывала в себя влагу, забирая ее даже из каменисто-мерзлого, прокаленного стужею снега, где влаги-то не должно быть вообще. А она была. Впитав в себя мокреть, подошва разбухала, делалась деревянной, негибкой, при ходьбе трещала, а главное – примерзала к ногам. Не один Мироныч лишился на войне из-за американских ботинок своих конечностей. С тех пор он на ноги припадает, и матерится, и припарки с примочками делает, в печке их выдерживает, и валенки носит, хотя окружающие больше предпочитают парадную одежду, золотые шевроны, да до лакового блеска начищенные ботиночки любят, но Мироныч есть Мироныч – никак не выправится. Сколько раз врачи отстраняли его от плавания, выстраивали перед входом в порт шлагбаумы и баррикады, наказывали охранникам не пускать его больше на причал, но Мироныч предпринимал ответные ходы, представлял пред начальственными очами при всех своих военных и мирных регалиях и сводил на нет усилия авторитетных медицинских комиссий. Капитан Донцов этому только радовался – ему было легко работать с Миронычем, они давно поняли друг друга, разделили свои обязанности по управлению командой и ледоколом: Донцов занимался судовождением и льдом, Мироныч – душами.

– Разумею я, Санёк, неладное что-то у тебя, а? – Мироныч прошел в каюту и сел на диван. Глаза у Мироныча были маленькими, хитрыми, источали особый внутренний свет, лицо было схоже с отщепленным користым наплывом старого дерева – сплошь в морщинах и порезах, ни одного гладкого места, когда Мироныч смеется, то все морщины у него на лице шевелятся, живут своей жизнью, даже, кажется, передвигаются от висков к срезу челюсти, а потом в обратном направлении. – Чайка, что ль, красная, эта самая... революционная, она повлияла, а?

Как в воду глядел хитрый помполит – практически в десятку ударил.

– Повлияла, – Суханов рассмеялся.

– Ну а все-таки? – спросил Мироныч, ему во всем нужна была ясность, каждое дело, за которое он брался, независимо от того, какое это дело, большое или малое, Мироныч привык

доводить до конца. Постучал носками валенок друг о друга, звук был ватным, слабым. – Мы ведь с тобою друзья, Санек. Поведай уж мне, старому хрычу... А вдруг советом помогу, а? Что-нибудь на берегу случилось?

– Хитер, хитер, Мироныч, – Суханов увидел, как распустилось, обмякло лицо Мироныча. Со словами надо быть осторожнее: все-таки Мироныч – не ровесник, это другое поколение и к сказанному относится не так, как завсегда из «Театрального», – Мироныч принимает сказанное, умножает на мнение, которое имеется у него самого, делит пополам, вносит поправку на реакцию окружающих: а как-то отозвались люди на вылетевшее слово? Суханов покачал головой и спросил: – Кофе хочешь?

– Хочу, – сказал Мироныч, хотя кофе не любил, да и сердце не позволяло ему баловаться крепкими напитками. Суханов стал готовить кофе. – Понимаешь, Санёк, у каждого человека, как я разумею, есть три характера: первый – это тот, который он приписывает сам себе, вот такой, мол, я есть! Сильный, храбрый и удачливый. Второй – тот, что человеку приписывают окружающие, тут, как правило, светлых сторон бывает мало – и сила у человека не та, и храбрости не больше, чем у зайца, и удачливости, как у табуретки – в том только удача и сокрыта, что верхом на нем сидят и если повезет, то седок может оказаться чуть поменьше весом; и третий характер – тот, что есть на самом деле. В соответствии с тремя характерами, Санёк, и человек действует тройко, вот ведь закавыка какая.

– Мудрено что-то говоришь, Мироныч, – Суханов быстро сготовил кофе, быстро разлил по чашкам.

– Рад бы сказать проще, да таланта нет. Вот так и говорю – длинно и путано.

– Мудрено, но все-таки понятно.

– Ну да, да-а... Извини, Санёк, что меня, как старый фаэтон, заносит на поворотах, ободами за углы цепляю. Ты вот, Санёк, откройся мне, как самому бы себе открылся: что тебя мучает?

Суханов усмехнулся, тень проползла у него по лицу. Опасаясь, что ее движение увидит Мироныч, нагнул голову – он знал, он чувствовал, когда у него физиономия меняет выражение, будь она неладна, и стремился уйти в сумеречное место.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.